

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net

Все книги автора

Эта же книга в других форматах

Другие книги серии «История тринадцати»

Приятного чтения!

**Оноре де Бальзак**  
**Златоокая девушка**  
**(История тринадцати — 3)**

*Посвящается Эжену Делакруа, художнику*

\* \* \*

Парижское население, — страшный с виду народ, бледный, жёлтый, изнурённый, — несомненно, представляет собой одно из самых тягостных зрелищ на свете. Не подобен ли Париж огромному полю, где непрестанно бушует буря корысти, клонящая долу людскую жатву, которая здесь особенно часто падает под косою смерти, но вновь вырастает, столь же обильная; искажённые, перекошенные лица людей всеми порами источают мысль, желания, яды, отягощающие мозг; нет, то не лица, то — личины, личины слабости, личины силы, личины нищеты, личины радости, личины ханжества; все истощённые, все отмеченные несмываемой печатью распалённой алчности! Чего хотят они? Золота или наслаждения? Кое-какие наблюдения над душой Парижа помогут понять нам, что придало мертвенный вид его лику, у которого только два возраста: либо юность, либо дряхлая старость — бесцветная, тусклая юность и нарумяненная, молодящаяся старость. Столкнувшись с этими живыми мертвецами, чужеземцы, мало склонные размышлять, сразу проникаются отвращением к этой столице, этой обширной мастерской наслаждений, но скоро сами не находят в себе силы оттуда вырваться и охотно остаются там, добровольно себя уродуя. Не много надо слов, чтобы физиологически объяснить чуть ли не адские отсветы на лицах парижан, ибо адом прозван Париж не только ради шутки. Это ад в буквальном смысле слова. Там все дымится, все горит, все блестит, все кипит, все пылает, испаряется, гаснет, вновь загорается, искрится, сверкает и испепеляется. Никогда ни одна страна не знала более пламенной и более жгучей жизни. Всегда пребывая в состоянии плавления, социальная природа Парижа, подобно живой природе, как бы говорит после каждой завершённой работы: «А теперь за другую!» Как живая, так и социальная природа занята разными букашками-подёнками, цветами-однодневками, пустячками; а вместе с тем она так же извергает жар и пламя из своего неистощимого кратера.

Быть может, прежде чем вскрыть причины, объясняющие своеобразие каждого племени этого умного и подвижного народа, необходимо отметить ту общую причину, по которой так или иначе у всех сынов его блекнут живые краски, сменяясь бледностью, синевой, землистой желтизной.

Увлекаясь положительно всем, парижанин в конце концов теряет способность чем-либо увлекаться. Ни одно яркое чувство не осветит его истасканное лицо, и оно становится серым, как пропылённая и продымлённая штукатурка домов. И правда, равнодушный ещё накануне к тому, что его завтра взволнует, парижанин живёт как дитя, сколько бы ни было ему лет. Он на все ворчит, всем утешается, надо всем издевается, все забывает, всего желает, все пробует, увлекается всем со страстью, беззаботно всем пренебрегает, будь то король, завоевания, слава, кумиры бронзовые или глиняные, и проделывает это с такой же лёгкостью, как выбрасывает чулки, шляпы, состояние. В Париже ни одно чувство не противостоит течению вещей, здесь все уносится вместе с бурным потоком жизни, и страсти слабеют, любовь

становится вожделием, ненависть — поползновением, самой близкой родней — тысячефранко-вый билет, другом — ломбард. Это общее безразличие приносит свои плоды; никто не бывает лишним ни в гостиной, ни на улице, никто не бывает ни безусловно полезным, ни безусловно вредным — как глупец и плут, так и люди, известные своим умом или честностью. Со всем примиряются — с правительством и с гильотиной, с религией и с холерой. В этом мире вы всегда свой человек, но там превосходно обойдутся и без вас. Кто же властвует в стране, где нет ни морали, ни веры, ни чувств, но где зарождается, куда устремляется всякое чувство, всякая вера, всякая мораль? Злато и наслаждение. Воспользуйтесь как светильниками этими двумя словами и обозрите огромную оштукатуренную темницу, человеческий улей с грязными канавами, проследите там извивы мысли, которые беспокоят, будоражат, терзают этот мир. Смотрите. Изучите сначала мир немущих!

Рабочий, пролетарий, человек, добывающий хлеб свой с помощью рук, ног, спины, языка, работающий только рукой, пятью пальцами, чтобы жить, — во г кто первый должен беречь свои жизненные силы, а он изнуряет себя, он впрягает жену в машину, истощает своего ребёнка, пригвозждая его к рычагу какого-нибудь механизма. Фабрикант, этот, сказал бы я, последний приводной ремень, пускает в ход машину, подгоняет народ, и народ своими загрубелыми руками выделяет и золотит фарфор, шьёт фраки и дамские платья, производит изделия из железа и дерева, филигранит сталь, придаёт прочность пеньке и хлопку, полирует бронзу, гранит хрусталь, делает искусственные цветы, вышивает шерстью, объезжает лошадей, плетёт сбрую и позументы, гравировывает на меди, красит кареты, подстригает старые вязы, выпаривает хлопок, выдувает стекло, обрабатывает алмазы, полирует металлы, превращает мрамор в тончайшие лепестки, облагораживает булыжник, придаёт изящную форму мыслям, все расцветивает, отбеливает или чернит. И вот явился подначальник, чтобы поработить этот мир пота и воли, знания и великого терпения, суля ему то огромный заработок от прихотей города, то мзду от чудовища, называемого Спекуляцией. И тогда четверорукие бедняги начинают бодрствовать по ночам, страдать, надрываться в работе, проклинать жизнь, голодать, изнурять себя вечным движением; все они выбиваются из сил, чтобы заработать околдовавшее их золото. А потом, не задумываясь о будущем, жадные до наслаждений, полагаясь только на свои руки, как художник на свою палитру, они, эти калифы на час, просаживают свой недельный заработок в кабаках, опоясывающих город грязным кольцом, — поясом бесстыднейшей из Венер, беспрестанно распускающимся и стягивающимся вновь, — в кабаках, где неизменно, как у игроков, гибнут скоплённые гроши этого народа, столь же неукротимого в наслаждении, сколь спокойного в труде. Итак, эта самая деятельная часть Парижа не знает покоя в течение пяти рабочих дней! Она предаётся вечному движению, заставляющему её искажаться, грубеть, худеть, бледнеть, бить тысячей источников созидательной воли. А потом, её отдых, её наслаждения — не что иное, как утомительный разгул, грязь, синяки от побоев, бледность от пьянства или желтизна от несварения желудка, разгул, который длится не более двух дней, но пожирает весь хлеб насущный, недельную похлёбку, платья жены, пелёнки ребёнка, все домашнее тряпье. Люди эти, рождённые, чтобы быть прекрасными, ибо всему живому присуща своя особая красота, с детства были загнаны в ряды подневольной армии, отданы в рабство молоту, резцу, прядильной машине и быстро были подвергнуты вулканизации. Действительно, не Вулкан ли, во всем своём уродстве и силе, служит воплощением этого уродливого и сильного народа, достигшего такой высоты в ремесленном мастерстве, терпеливого в часы труда, грозного раз в столетие, воспламеняющегося как порох, водкой подготовленного к революционному пожару, наконец, достаточно умного, чтобы предать огню враждебный ему мир при первом коварном призыве, всегда сулящем ему золото и наслаждения! Все те, кто протягивает руку за подаванием, за законной оплатой труда или за пятью франками — вознаграждением парижской проституции разных видов, — словом, все те, кто протягивает руку за грошами, добытыми правдой или неправдой, составляют триста тысяч парижского населения. Не будь кабаков, разве не свергалось бы правительство каждый вторник? К

счастьем, по вторникам этот народ пребывает в состоянии отупения, его ломает с похмелья, он остаётся без гроша и возвращается к труду, к чёрствой корке хлеба, побуждаемый потребностью материального творчества, вошедшего у него в привычку. Однако у этого народа немало доблестных сынов, совершённых людей, неведомых миру Наполеонов, воплощающих народные силы в самом высшем их проявлении и осуществляющих его социальные стремления в деятельности, где мысль и движение сливаются воедино, но не для того, чтобы порадовать людей счастьем, а лишь для того, чтобы ввести в известную колею их страдания.

Случай сделал какого-нибудь рабочего бережливым, случай подсказал ему счастливую мысль, рабочий мог позаботиться о будущем, женился, стал отцом — и после нескольких лет тяжёлых лишений снимает лавку, открывает галантерейную торговлю. Если ни болезнь, ни порок не принудили его свернуть с этого пути, если ему сопутствовала удача, то вот вам очерк его обычной жизни.

И прежде всего приветствуйте его — царя парижского движения, кто подчинил себе время и пространство. Да, приветствуйте это существо, которое питается селитрой и газом, в свои тяжелые ночи дарует Франции детей, а днем разрывается на части в работе ради удобств, славы и наслаждений своих сограждан. Этот человек разрешает вопрос, как одновременно оказать внимание и своей милой жене, и семье, и «Конститусьонелю», и конторе, и национальной гвардии, и театру, и Господу Богу, но при условии, чтобы «Конститусьонель», контора, театр, национальная гвардия, жена, Господь Бог принесли бы ему звонкую монету. Итак, приветствуйте эту образцовую, вездесущую особь. Вставая каждый день в пять часов утра, он с быстротою птицы пролетает пространство, отделяющее его жилище от улицы Монмартр. Дует ли ветер, гремит ли гром, льет ли дождь, падает ли снег, он уже у дверей «Конститусьонеля» ожидает очередной пачки газет, на разноску которых он подрядился. С жадностью бросается он на эту ежедневную порцию политического хлеба, хватает ее и уносит. В девять часов утра он возвращается уже в лоно семьи, отпускает шуточки жене, срывает с ее уст звонкий поцелуй, смакует кофе, журит детей. В без четверти десять он приходит в мэрию. Там, сидя в кресле, как попугай на жердочке, понукаемый городом Парижем, он бесстрастно, без вздохов и улыбок, составляет до четырех часов дня записи актов о смерти и о рождении. Радости и горести всего квартала соскальзывают с кончика его пера, после того как дух «Конститусьонеля» витал у него за спиной. Ничто его не тяготит! Он всегда идет проторенными путями, газета поставляет ему патриотические идеи в готовом виде, он никому не противоречит, возмущается или рукоплещет вместе со всеми и живет как птица небесная. Если в церкви его прихода, в двух шагах от мэрии, случается особо торжественная служба, он посадит какого-нибудь сверхштатного чиновника на свое место, а сам отправится петь реквием на клиросе, где по воскресным и праздничным дням он является самым лучшим украшением и выделяется своим мощным голосом, когда, с особенным усердием скривив свой большой рот, громогласно и радостно возвещает аминь. Он — певчий. Освободившись к четверем часам дня от служебных обязанностей, он заглядывает в свою лавку, самую известную в Ситэ, распространяя там вокруг себя радость и веселье. Жена его счастлива, ему некогда ее ревновать, он человек дела, а не чувства. Но стоит ему переступить порог, как он уже пристаёт к продавщицам, живые глазки которых привлекают толпу покупателей; весело посмеиваясь, перебирает он украшения, косынки, муслиновые изделия искусных мастериц; а то, еще чаще, перед обедом сам займется с покупателями, выпишет себе что-нибудь из газеты или отнесет судебному приставу просроченный вексель. В шесть часов вечера, три раза в неделю, он неизменно появляется на своем посту. Незаменимый первый бас хора, он спешит в Оперу, готовый превратиться в солдата, араба, узника, дикаря, поселянина, призрак, верблюжью ногу, во льва, черта, доброго духа, раба, белого или черного евнуха, понаторев в искусстве выказывать радость, скорбь, жалость, удивление, испускать всегда одни и те же крики или безмолвно пребывать на подмостках, охотиться, драться, изображать вместе с себе подобными толпу римлян или египтян и при этом неизменно оставаться in

petto<sup>1</sup> торгашом. В полночь он снова добрый муж, мужчина, нежный отец; он сходит на супружеское ложе еще распаленный обманчивыми прелестями оперных нимф и обращает на пользу узаконенной любви соблазны жизни и сладострастный изгиб ножки какой-нибудь из парижских Тальони. Наконец он засыпает, а засыпает он быстро, так же торопясь выспаться, как неизменно торопится жить. Такой человек — воплощенное движение, олицетворенное пространство, Протей цивилизации. Такой человек — итог своего времени: истории, литературы, политики, правительства, религии, военного искусства. Не правда ли, он — живая энциклопедия, причудливый Атлас, пребывающий в беспрестанном движении и, подобно Парижу, никогда не знающий покоя? Его кормят ноги. Неудивительно, что он обезличен заботами и делами. Быть может, рабочий, умирающий тридцатилетним стариком, выдубив свой желудок все большими и большими порциями водки, покажется некоторым хорошо обеспеченным философам счастливее этого торгаша. Один погибает сразу, другой изо дня в день. Из своих разнообразных промыслов, из своей спины, рук, глотки, жены и торговли, он (подобно тому, как другие — из фермы) извлекает свой доход — детей, несколько тысяч франков и самое хлопотливое счастье, когда-либо радовавшее сердце человеческое. Его состояние и его дети — или одни только дети, заключающие в себе весь смысл его жизни, — становятся добычей более высокого общественного круга, которому отдаёт он свои деньги и свою дочь или же сына, воспитанного в коллеже, более образованного, чем отец, и устремляющего дальше свои честолюбивые помыслы. И зачастую младший отпрыск какого-нибудь розничного торговца уже претендует на государственный пост.

Вопрос о честолюбии переносит нашу мысль во второй круг парижской жизни. Загляните в квартиры над первым этажом или спуститесь с чердака на пятый этаж — одним словом, ознакомьтесь с теми, у кого уже есть кое-что за душой, — впечатление будет то же. Это оптовые торговцы и их подручные, чиновники, обладатели небольших сбережений, но великой честности люди, мошенники, отпетые мерзавцы, старшие и самые младшие приказчики, судейские чины, конторщики судебных приставов, стряпчих и нотариусов — словом, деятельные, мыслящие, спекулирующие представители той мелкой буржуазии, которая извлекает из интересов Парижа свою собственную выгоду, скупает продовольствие, набивает свои склады трудами рук пролетариев, наполняет бочонки южными фруктами, океанской рыбой, винами всех побережий, обласканных солнцем; простирает свои жадные руки на Восток, забирает там шали, которыми пренебрегли турки и русские; пожинает жатву даже в далекой Индии; сидит сложа руки в ожидании спроса на товары, заранее смакует барыши, учитывает векселя, скупает и пускает в оборот всевозможные ценности, распродает по мелочам весь Париж, перевозит его с места на место; извлекает выгоду из детских прихотей, наживается на причудах и пороках зрелых лет, выжимает барыш из болезни своего ближнего. И что же? Не отравляя себя водкой, как рабочие, не валяясь подобно им в грязи на окраинах города, они все-таки истощают свои силы, сверх меры напрягают и ум и тело одновременно; сохнут, пожираемые желанием, гибнут в бешеной погоне за наживой. Они изнемогают физически, подхлестываемые кнутом корысти, бичом честолюбия, терзающего высшие круги этого чудовищного города, — тогда как пролетарий изнемогает под жестоким бременем непосильного труда, направленного на беспрестанное ублаговление деспотического самодурства аристократии. Стало быть, и здесь, повинувшись всевластному владыке — наслаждению или золоту, надо спешить и спешить, убыстрять время, ухитряться так, чтобы в сутках было больше двадцати четырех часов, взвинчивать и изнушать себя, покупая два года нездорового отдыха ценою тридцати лет спокойной старости. Только и разница, что рабочий умирает в больнице, когда истощение его достигает крайнего предела, а мелкий буржуа упорно цепляется за жизнь и живет, но превращается в жалкое, слабоумное существо; вот он перед вами — потрепанное, испитое, старческое лицо, тусклый взгляд,

---

<sup>1</sup> В душе (ит.)

вихляющая походка; с отупевшим видом ковыляет он по бульварам — этому поясу Венеры — его любимой столицы. Так что же нужно буржуа? Тесак национальной гвардии, к обеду — неизменное мясо с овощами, законным образом сколоченный капиталец, чтобы обеспечить себя на старости лет, и приличное место на кладбище Пер-Лашез. Развлекается он по воскресеньям; отдых его — загородная прогулка в наемном экипаже, когда его жена и дети радостно насыщаются пылью и жарятся на солнце; предел его желаний — ресторация, стяжавшая себе славу обедами, губительными, однако, для здоровья, или семейные балы, где задыхаешься, отплясывая до полуночи. Некоторые глупцы поражаются, наблюдая пляску святого Витта, которой предаются бактерии, обнаруживаемые микроскопом в капле воды, но что сказал бы Гаргантюа — это непонятое в своей дивной дерзости создание Рабле, что сказал бы такой гигант, упавший с небес на землю, если бы он вздумал ради забавы понаблюдать движения во втором круге парижской жизни, обзор которой здесь дан? Случалось ли вам бывать в базарных лавчонках, расположенных под медной кровлей хлебного рынка, холодных даже в летнее время, а зимой согреваемых лишь жалкой жаровней? Так вот, жена буржуа уже с самого утра там, она перекупщица на рынке и, как говорят, наживает на этом деле двенадцать тысяч франков в год. Когда подымается с постели жена, муж отправляется в неприглядную контору, где выдает торговцам своего квартала краткосрочные ссуды под ростовщические проценты. В девять часов он уже в паспортном столе, где исполняет обязанности одного из помощников столоначальника. Вечером он в кассе Итальянского или какого-либо другого театра. Дети отданы кормилице в деревню, о них вспомнят, лишь когда придет время отправить их в коллеж или пансион. Муж и жена живут на четвертом этаже, держат одну служанку, устраивают балы в гостиной длиной в двенадцать, шириной в восемь футов, освещенной масляными лампами, но дают за дочь полтора тысяча приданого, а сами в пятьдесят лет наконец предаются отдыху, начинают появляться в ложах второго яруса Оперы, в фиакре на аллеях Лоншана или, в поблекших туалетах, пребывают в солнечные дни на бульварах, этих своеобразных шпалерах, способствующих произрастанию подобных фруктов. Они пользуются уважением всего квартала, благосклонностью правительственных чиновников, связями с крупной буржуазией; муж к шестидесяти пяти годам получает крест Почетного легиона, и отец его зятя, мэр округа, приглашает его к себе на вечера. Труды всей жизни идут, таким образом, на пользу детям, которых мелкая буржуазия неизменно стремится поднять до круга крупной буржуазии. Так каждый круг общества мечет свою икру в следующий высший круг. Сын богатого бакалейщика становится нотариусом, сын лесоторговца — судейским чиновником. Ни один зубец не минует своей зарубки, и все способствует восходящему движению капитала. Вот мы и добрались до третьего круга этого ада, который когда-нибудь, вероятно, обретет своего Данте. Этот третий круг общества — своеобразное чрево Парижа, здесь перевариваются интересы города и превращаются в так называемые «дела», здесь движется и бурлит под воздействием кислот и желчи, подвергаясь кишечному процессу, множество стряпчих, врачей, нотариусов, адвокатов, дельцов, банкиров, крупных торговцев, биржевиков, судейских. Здесь больше, чем где-либо, причин для физического и нравственного разложения. Почти все эти люди проводят жизнь в зловонных конторах, смрадных судебных помещениях, в душных тесных клетушках за решетчатой перегородкой; день-деньской просиживают они, согнувшись под бременем дел, встают чуть свет, чтобы успеть все сделать, чтобы не дать ограбить себя другому, чтобы все захватить самому или хотя бы ничего не потерять, чтобы сцапать человека или его деньги, чтобы наладить или расстроить какое-нибудь дело, чтобы не упустить благоприятный момент, чтобы приговорить подсудимого к повешению или оправдать его. Все это сказывается на их лошадях: их загоняют, надрывают их силы, их тоже раньше времени превращают в развалины. Время — тиран этой буржуазии, его не хватает ей, оно ей не подчиняется, она не в силах замедлить или ускорить его ход. Какая же душа останется великодушной, чистой, нравственной, благородной, какое же лицо не утратит свою красоту от занятий подобным ремеслом, заставляющим иметь дело с бедствиями целого общества, исследовать их,

взвешивать, оценивать, подводить под известные нормы? Эти люди запрятали где-то свое сердце, но где?.., я не знаю. Даже если оно и есть у них, они отрекаются от него каждое утро, проникая в пучину страданий, терзающих целые семьи. Для них нет тайн, они познают изнанку общества, они — его исповедники, вот почему они презирают его. Но что бы они ни делали, борясь с пороком, они испытывают перед ним ужас и предаются печали; или же, устав от борьбы, идут на тайную сделку с ним; законы, люди, учреждения превращают их в воронье, которое слетается на еще не остывшие трупы, — и они перестают верить в чувства. В обществе ежечасно капиталист устанавливает цену живым людям, нотариус — цену мертвым, судья — цену совести. Вынужденные беспрестанно говорить, все они заменяют мысль словом, чувство — фразой, и душа их уходит в глотку. Они изнашиваются, развращаются. Ни крупный торговец, ни судья, ни адвокат не сохраняют простых человеческих чувств, они все подгоняют под готовую мерку, искажая подлинную природу людей. Увлекаемые бурным потоком своей деятельности, они перестают быть отцами, мужьями, любовниками, они скользят по жизни, словно катятся на салазках с ледяной горы, и каждый час их бытия подчинен делам великого города. Не успеют они вернуться домой, как надо уже спешить на бал, на празднество, в Оперу, чтобы приобретать себе клиентов, связи, покровителей. Все они чрезмерно много едят, играют в карты, не спят по ночам, и лица их округляются, расплываются, багровеют; чтобы отдохнуть от этой страшной растраты умственных сил и постоянного насилия над собственной совестью, они предаются не наслаждению, нет, — оно слишком бледно для них и не поражает их взоры резкими красками, — но разврату, разврату тайному, чудовищному, ибо все подвластно этим блюстителям общественных нравов. Они глупы, но глупость скрывается под покровом специальных знаний. Они знают свое ремесло, а в остальном они полные невежды. И вот, чтобы не страдало их самолюбие, они все подвергают сомнению, критикуют все вкось и вкось, строят из себя скептиков, на деле же оказываются легковверными невеждами и окончательно сбиваются с толку в нескончаемых спорах. Почти все они охотно усваивают общественные, литературные и политические предрассудки, что избавляет их от труда составить собственное мнение, точно так же как свод законов или постановления коммерческого суда избавляют их от забот совести. Задавшись в ранней юности целью стать выдающимися людьми, они скоро становятся посредственностями и ползком пробираются к вершинам общества. Лица их отличаются мертвенной бледностью, у них — тусклые, обведенные синевой глаза, болтливые и чувственные рты; по всем этим признакам наблюдательный человек узнает о вырождении мысли, которая замкнута в тесном кругу узкой специальности, убивающей творческую силу мозга, способность охватывать своим взором широкие горизонты, обобщать, делать выводы. Почти все такие люди высыхают в горниле дел. Вот почему никогда не достигнуть величия тому, кто допустит, чтобы его затянула система колёс одной из этих чудовищных машин. Если он врач, он ничего не даст медицине или, в исключительном случае, как Биша, умрёт совсем молодым. Если он крупный торговец и не потеряет своё лицо, он уподобится Жаку Керу. Разве Робеспьер вел дела в суде? Ну, а Дантон? — Предавался безделью и ждал. Но кто же, скажите мне, кто же завидовал когда-либо таким ярким личностям, как Робеспьер и Дантон? Нет, эти дельцы — дельцы до мозга костей — тянутся к капиталу и загибают его обеими руками, чтобы получить возможность породниться с аристократией. Если честолюбие рабочего в том, чтобы стать мелким буржуа, здесь мы встречаем подобную же страсть. В Париже тщеславие — основа всех страстей. Типичный образец этого класса — или честолюбивый буржуа, после томительного ожидания и беспрерывных ухищрений проникающий наконец в государственный совет, как муравей проползает в щель; или же редактор газеты, ловкий интриган, назло дворянству пожалованный королём в пэры Франции; или же нотариус, ставший мэром своего округа; так или иначе всех этих людей уже потрепала деловая жизнь, и если они достигают своей цели, то достигают совершенно опустошёнными. Во Франции укоренился обычай возвеличивать прикрытые париками облыселе головы.

Только два крупных государя, Наполеон и Людовик XIV, выбирали молодых людей

для осуществления своих замыслов.

Выше этого круга находятся люди искусства. Но и здесь все то же: лица, отмеченные печатью оригинальности, поражают своим усталым, замученным, измождённым, хотя и благородным видом. Изнурённые необходимостью непрестанного творчества, истощённые своими дорого стоящими причудами, снедаемые всепожирающей силой гения, алчущие наслаждений, все парижские художники стремятся чрезмерным трудом наверстать то, что упустили по лености, и тщетно пытаются примирить светскую суету со славой, деньги с искусством. В начале поприща художник задыхается под игом кредиторов; его потребности ввергают его в долги, которые обрекают его на бессонные ночи, отданные труду. А на смену труду приходят наслаждения. Актёр играет до полуночи, утром разучивает роль, в полдень репетирует; скульптор сгибается под тяжестью работы над мрамором; журналист — это мысль в постоянном движении, он — словно солдат во время боя; модный живописец завален работой, живописец, лишённый заказов, но озарённый искрой гения, снедаем тоской. Конкуренция, соперничество, клевета убивают таланты. Одни с отчаяния кидаются в бездну порока; другие умирают молодыми и непризнанными, слишком рано начав жить за счёт будущих успехов. Редко эти люди, столь одухотворённые в юности, сохраняют былое своё обаяние. Да и непонятой остаётся пламенная красота их лица. Облик художника нарушает все каноны; общепринятое у глупцов понятие идеальной красоты неприменимо к ним. Какая же сила их разрушает? — Страсть. А всякую страсть в Париже характеризуют два слова: золото и наслаждение.

Пойдём дальше, не легче ли дышится вам сейчас? Не чувствуете ли вы, как чище становится воздух, как ширятся перед вами просторы? Здесь не знают ни трудов, ни забот. Буйный золотой вихрь достигает вершин. Из отдушин подвалов, откуда золото струится по узким желобкам, из тёмных лавок, где его пытаются задержать ненадёжными плотинами, из недр банков и контор, где его превращают в тяжёлые слитки, оно в виде приданого или наследства по мановению девичьей ручки или костлявой руки старика взмечается струёй в аристократический мир и там всем напоказ сверкает, разливается, разбегается ручейками. Но прежде чем закончить изучение четырех основ, на которых зиждется класс крупных парижских собственников, не должны ли мы, указав причины нравственного порядка, изложить ещё причины физические, обратить внимание на поднимающуюся из земли, на которой стоит Париж, заразу, неизменно воздействующую на лица привратников, лавочников, рабочих; указать на распространённость этого разложения, с которым может сравниться лишь нравственное разложение парижских властей, благодушно примиряющихся с ним. Если воздух домов, где живёт большинство горожан, заражён, если улица изрыгает страшные миазмы, проникающие через лавки в жилые помещения при них, где и без того нечем дышать, — знайте, что, помимо всего этого, сорок тысяч домов великого города постоянно омываются страшными нечистотами у самого своего основания, ибо власти до сих пор не додумались заключить эти нечистоты в трубы, помешать зловонной грязи просачиваться сквозь почву, отравлять колодцы, так что под землёй город до сих пор подтверждает справедливость знаменитого своего имени — Лютеции. Половина Парижа живёт среди гнилых испарений дворов, улиц, помойных ям.

Но обратимся к просторным, благоухающим, золочёным гостиным, к особнякам, окружённым садами, к миру богатому, праздному, счастливому, обеспеченному. Там вы встретите измождённые лица, истерзанные тщеславием. Там все нереально. Гоняться за наслаждениями — разве это не значит обретать только скуку? Светские люди рано растрачивают своё здоровье. Занятые лишь поисками удовольствий, они быстро начинают злоупотреблять своими чувствами, как рабочий злоупотребляет водкой. Наслаждение подобно некоторым лечебным снадобьям; чтобы они оказывали постоянное воздействие, надо увеличивать дозу, пока наконец не наступает смерть или полное оупение. Все низшие классы примостились к богачам и присматриваются к их вкусам, чтобы превратить их в пороки, извлечь из них выгоду. Как устоять перед хитрыми соблазнами, которые измышляются в этой стране? Да, и в Париже отравляют себя наркотиками, но только вместо

опиума здесь обращаются к игре, чревоугодию, куртизанке. Вот почему с юных лет можно наблюдать у этих людей лишь пристрастия, но не страсти, лишь вымышленные увлечения и вялые чувства. Там царит бессилие; отсюда изгнана живая мысль, она вместе с энергией вся растратилась на кривляния паркетных шаркунов и женское притворство. Там вы встретите сорокалетних молокососов и шестнадцатилетних умудрённых старцев. В Париже богачи находят готовое остроумие, специально разжёванные для них знания, установленные убеждения; собственное остроумие, знания, убеждения им не нужны. В этом мире безрассудство достигло такой же степени, как слабость и разнузданность. Каждая минута на учёте, потому что все время уходит на безделье. Не ищите же там ни привязанностей, ни мыслей. За объятиями скрывается глубокое безразличие, а за вежливостью — упорное презрение. Там не знают любви к ближнему своему. Острословие без глубины, бесконечные сплетни и пересуды, а чаще всего затасканные общие фразы — такова сущность светских разговоров; но эти несчастные баловни судьбы не намерены, как они сами заявляют, собираться вместе для того, чтобы блистать изречениями в духе Ларошфуко, как будто восемнадцатый век уже не нашёл золотой середины между чрезмерным глубокомыслием и полнейшей пустотой. Когда же кто-либо из умных людей отпускает тонкую и лёгкую шутку, она остаётся непонятой; и вскоре, утомлённые тем, что им приходится только давать, ничего не получая взамен, такие люди перестают бывать в обществе и уступают своё место глупцам, которые и царят там безраздельно. Пустое существование, постоянные бесплодные поиски удовольствий, вечная скука, нищета души, сердца, мозга, усталость от блестящих парижских празднеств накладывают свой отпечаток на людей этого круга, превращают их лица в безжизненные маски, изрезанные преждевременными морщинами, в обычную физиономию богача, искажённую гримасой бессилия, освещённую отблеском золота, утратившую признаки мысли.

Весь духовный облик Парижа доказывает, что Париж материальный не мог быть иным, чем он является в действительности. Столица, украшенная венцом, — это королева, всегда беременная, всегда снедаемая безудержными, яростными причудами. Париж — голова земного шара, мозг, терзаемый гениальной мыслью и увлекающий вперёд человеческую цивилизацию, властитель, неустанный творец-художник, дальновидный политик; он, безусловно, должен обладать извилинами, присущими мозгу, пороками властелина, воображением художника и пресыщенностью бесстрастного политика. Лик его отражает произрастание добра и зла; борьбу и победу, идейную битву 1789 года, трубы которой ещё гремят во всех уголках мира, а также поражение 1814 года. Город этот не может быть ни нравственнее, ни сердечнее, ни чище, чем паровой котёл одного из тех великолепных пароходов, что вызывают ваше восхищение, мощно разрезая океанские волны.

Разве Париж не чудесный корабль, нагруженный великой мудростью? Да, герб его — одно из тех пророчеств, на какие способна порой сама судьба. Город Париж гордится своей высокой бронзовой мачтой, украшенной изображениями побед и фигурой дозорного — Наполеона. Правда, сему кораблю ведома килевая и боковая качка, но он бороздит воды всего мира, стреляет из сотни жерл со своих трибун, прокладывает путь через моря науки, несётся по ним на всех парусах, взывает с высоты своих марселей голосами учёных и художников: «Вперёд, на приступ! За мной!» На нем многолюдная команда, которая любит украшать судно новыми вымпелами. Юнги-мальчишки хохочут среди снастей; балластом служит увесистая буржуазия; рабочие и матросы насквозь просмолены, в каютах бездельничают счастливики-пассажиры; склонившись над бортом судна, элегантные мичманы покуривают сигары, а дальше, на верхней палубе, — солдаты, искатели новых путей и честолюбцы, готовые пристать к любому берегу и возжечь там животворящие светочи истины, добиться славы, дарящей им наслаждение, или любви, требующей золота.

Итак, непосильным трудом пролетариев, необузданной погоней за наживой, снедающей крупную и мелкую буржуазию, жестокими муками творческой мысли и излишествами в наслаждениях, которых постоянно ищут великие мира сего, — вот чем объясняются искажённые черты лица, обычно свойственные парижанину Лишь на Востоке



род людской ещё радует взоры великолепным своим обликом; но то действие постоянного покоя, излюбленного состояния этих глубокомысленных философов с длинными трубками, обладателей маленьких ног и крепкого тела, ненавистников презренной суеты; тогда как в Париже мелкие, средние и большие люди только и делают, что мчатся со всех ног, сбивают друг друга, преодолевают препятствия, подхлёстываемые неумолимой богиней Необходимостью, необходимостью денег, славы или развлечений... Вот почему свежее, спокойное, милое, подлинно юное лицо вам покажется самым необычайным исключением, до того редко можно здесь его встретить. Если увидите такое лицо, знайте: перед вами, бесспорно, молодой и ревностный священник; или же это добродушный сорокалетний аббат с тройным подбородком; юная благонравная девица, из тех, что воспитываются в иных буржуазных семьях; молодая двадцатилетняя мать, ещё полная иллюзий, кормящая грудью своего первенца; юноша, только что приехавший из провинции, доверенный попечению старой ханжи, обобравшей его до последней нитки, или, может быть, скромный приказчик, который ложится спать в полночь, усталый от постоянного скатывания и раскатывания штуки коленкора, и встаёт в семь часов утра, чтобы успеть выставить товары в окне лавки; или, нередко, служитель науки, а то и поэзии, целомудренный возлюбленный какой-нибудь прекрасной идеи, который живёт как монах и столь же умерен, терпелив и добродетелен; или глупец, самодовольный, вскормленный собственной глупостью, пышущий здоровьем, с неизменной улыбкой на губах; или представитель счастливой, беззаботной породы фланёров, действительно счастливых обитателей Парижа, ежеминутно смакующих поэзию его вечного движения. Все же в Париже есть кучка избранных существ, которым идёт на пользу это напряжённое производство товаров, погоня за наживой, сделки, искусство и золото. Это — женщины. Хотя в Париже по тысяче причин их облик искажён сильнее, чем где бы то ни было, однако в их женском мирке выделяется небольшое счастливое племя, которое живёт на восточный лад и может сохранить свою красоту; но эти женщины редко проходят по улицам, пребывая затворницами, и подобно редкостным цветам, раскрывающим свои лепестки лишь в известные часы, являются настоящими экзотическими созданиями. Впрочем, Париж по самой своей сущности — город контрастов. Пусть здесь редки искренние чувства, но и здесь, как везде, встречается благородная дружба, безграничная преданность. На поле битвы наживы и страстей, как и в жизни армии, этого странствующего сообщничества, где торжествует эгоизм, где каждый должен сам себя защищать, чувства, если уж они проявляются, как бы особенно склонны раскрываться во всей своей глубине и особенно прекрасны в силу противопоставления. То же бывает в Париже и с красотой лица. Нередко среди высшей аристократии то здесь, то там можно встретить прелестные лица юношей, свидетельствующие об исключительном воспитании и чистоте нравов. Со свежим очарованием английской красоты лица эти сочетают выразительность, французскую одухотворённость, чистоту форм. Горячий огонь очей, прелестные алые губы, шелковистый блеск чёрных кудрей, белая кожа, нежный овал лица превращают этих юношей в прекрасные цветы человеческие, производят блистательное впечатление среди массы тусклых, старообразных, носатых, кривляющихся физиономий.

Женщины сразу устремляют на таких юношей свои взоры и с жадным упоением любуются ими, подобно тому, как мужчины восхищаются красивой, скромной, грациозной молоденькой девушкой, окружённой ореолом той очаровательной невинности, о какой мы грезим. Если этот беглый очерк, посвящённый жителям Парижа, дал представление о редкости красоты рафаэлевского типа и о том восторге, какой она должна возбуждать с первого взгляда, то основная цель нашей повести достигнута. *Quod erat demonstrandum*, — что и требовалось доказать, — если только позволительно пользоваться схоластическими формулами, изучая историю нравов.

Как-то, в прекрасное весеннее утро, в ту пору, когда деревья ещё не зазеленели, но уже покрылись набухшими почками, а на крышах уже горят солнечные блики, когда голубеет небо; когда парижское население покидает свои ульи, жужжит на бульварах, тысячецветной змеёй ползёт по улице Мира в направлении к Тюильри, приветствуя свадебный пир

возрождающейся природы, — в такой ликующий день молодой человек, сам прекрасный, как этот день, одетый со вкусом, непринуждённый в манерах, — откроем его тайну, — дитя любви, побочный сын лорда Дэдли и всем известной маркизы де Вордак, прогуливался по широкой аллее в Тюильри. Сей Адонис, носивший имя Анри де Марсе, родился во Франции, куда лорд Дэдли приехал с целью выдать замуж молодую особу, мать нашего Анри, за старого дворянина по фамилии де Марсе. Этот облинявший и полумёртвый мотылёк признал ребёнка своим, получив в качестве вознаграждения в пожизненное пользование сто тысяч франков ренты, переходящие затем к его мнимому сыну; лорд Дэдли не дорого заплатил за своё сумасбродство: французские бумаги шли тогда по семнадцати с половиной франков. Старый дворянин умер, так и не сблизившись с женой. Г-жа де Марсе впоследствии вышла замуж за маркиза де Вордака; но и до этого она мало думала о своём ребёнке и о лорде Дэдли. Сначала война между Францией и Англией разъединила любовников, а верность во что бы то ни стало никогда не была, да и не будет модной в Париже. Затем успех элегантной, красивой женщины, пользовавшейся всеобщим обожанием, заглушил в парижанке материнское чувство. Лорд Дэдли проявил не больше чадолюбия, чем мать. Быть может, быстрая измена пылко любимой им девушки вызвала у него нечто вроде неприязни ко всему, что было с ней связано. Возможно также, что отцы привязываются только к тем детям, которых они близко узнают; это общепризнанное мнение имеет важный смысл для семейного спокойствия, и его должны поддерживать все холостяки, доказывая, что отцовство — чувство, подобное тепличному растению, взращённое женой, добрыми нравами и законами.

Бедный Анри де Марсе обрел отца именно в том человеке, которому не был обязан своим появлением на свет. Отцовским чувствам г-на де Марсе, естественно, было далеко до совершенства. По обыкновению, отец мало бывает с детьми, и наш дворянин подражал в этом родным отцам. Старикашка не продал бы своего имени, если бы не предавался порокам. Итак, без всяких угрызений совести он принялся проедать и пропивать в различных притонах и прочих зланных местах те небольшие доходы, которые французское казначейство выплачивало держателям государственной ренты. Затем он отдал ребенка на попечение своей престарелой сестры, девицы де Марсе, которая нежно заботилась о своем воспитаннике и на скудные средства, получаемые от брата, пригласила к нему наставником аббата, не имеющего ломаного гроша за душой; аббат принял на себя заботы о юном питомце, положившись на вознаграждение себе в будущем за счет его стотысячной ренты, и искренне привязался к мальчику. Наставник этот по воле случая оказался истинным священником, прелатом, как бы созданным для того, чтобы стать кардиналом во Франции либо Борджиа в папской тиаре. За три года он обучил мальчика всему, чему обучили бы его в школе за десять лет. Наконец, этот незаурядный человек, по имени аббат де Маронис, завершил образование своего ученика, приобщив его к цивилизации во всех ее проявлениях; он делился с ним всем своим опытом, он вовсе не думал таскать его по церквам, — да в те годы они были еще закрыты, — но иногда водил его за кулисы, а еще чаще к куртизанкам; аббат последовательно развенчал перед юношей одно за другим все человеческие чувства, преподавал ему правила политики, которую в ту пору стряпали в гостиных; ознакомил его со всем правительственным механизмом и, питая дружеские чувства к этой брошенной на произвол судьбы, но многообещающей, прекрасной натуре, мужественно попытался заменить ему мать; разве церковь и не должна быть матерью всех сирот? Юноша оправдал надежды своего учителя. Достойный человек умер епископом в 1812 году, удовлетворенный сознанием, что оставляет после себя под небесами чадо, чувства и ум которого в шестнадцать лет столь блистательно воспитаны, что оно легко может взять верх над любым сорокалетним мужчиной. Кто ожидал бы найти железное сердце, отравленный ум под самой обольстительной внешностью, подобной той, какую старые мастера, эти великие в своей наивности художники, наделяли змия-искусителя? И это еще не все. Чертовски предусмотрительный служитель церкви обеспечил своему детищу покровительство нужных людей в высшем свете, откуда молодой человек мог извлечь дополнительную ренту в сто

тысяч ливров. Словом, сей пастырь, порочный, но умный, не верующий, но ученый, коварный, но приятный, тщедушный с виду, но сильный телом и духом, был столь полезен своему питомцу, столь снисходителен к его порокам, столь опытен в оценке борющихся сил, столь искусен в разоблачении сущности человеческой природы, столь молод за столом у Фраскати и еще кое-где, что признательного ему Анри де Марсе в 1814 году уже ничто не могло растрогать — разве лишь лицезрение портрета, на котором изображен был дорогой ему епископ, — единственное движимое имущество, оставленное ему прелатом, представителем несравненной породы людей, гений коих принесет римско-католической апостольской церкви, опороченной ныне из-за слабости своих новых членов и дряхлости своих первосвященников, спасение от гибели, но, конечно, если сама церковь того пожелает! Война на континенте помешала молодому де Марсе увидеть своего настоящего отца, вряд ли известного ему даже по имени. Покинутый родителями еще в детстве, он не лучше знал и г-жу де Марсе. Вполне понятно, что он нимало не горевал о смерти своего мнимого отца. Когда же умерла девица де Марсе, бывшая ему истинной матерью, то он поставил ей прелестный небольшой памятник на кладбище Пер-Лашез. Монсеньор де Маронис сулил этой Божьей старушке лучшее из мест в царствии небесном, вот почему она умирала счастливой. Анри же оплакивал ее эгоистическими слезами, сожалея не о ней, а о себе самом. Видя горе своего питомца, аббат осушил его слезы, напомнив ему, что почтенная девица уж очень противно нюхала табак, быстро глохла и становилась день ото дня все безобразнее и надоедливей, так что следует только благословлять унесшую ее смерть. В 1811 году епископ добился снятия опеки со своего воспитанника. Когда же мать г-на де Марсе вторично вышла замуж, прелат на семейном совете выбрал из своих прихожан честного, недалёкого человека, предварительно проверенного им в исповедальне, и поручил ему заботы об имуществе юного де Марсе с тем, чтобы доходы можно было обратить на нужды совместной жизни учителя и ученика, не касаясь, однако, основного капитала.

Итак, к концу 1814 года Анри де Марсе не был связан никакими узами на нашей грешной земле и чувствовал себя вольной птицей. Хотя ему исполнилось уже двадцать два года, на вид ему нельзя было дать больше семнадцати. Обычно даже самые придиричivéе его соперники признавали, что он самый красивый юноша в Париже. От отца, лорда Дэдли, он унаследовал завлекающий, обольстительный взгляд синих глаз, от матери — густые чёрные волосы; от обоих — чистоту крови, нежную девичью кожу, мягкие, скромные манеры, изящную аристократическую фигуру и поразительно красивые руки. Для женщины увидеть его — значило потерять голову, да, понимаете ли, загореться одним из тех желаний, которые испепеляют сердце, но, впрочем, забываются из-за невозможности их удовлетворить, ибо постоянство вообще не свойственно парижанке. Немногие среди них, подобно мужчине, повторяют девиз Оранского дома: «Не отступлюсь!» Этот молодой человек с юношески свежим лицом и с детскими глазами обладал храбростью льва и ловкостью обезьяны. На расстоянии десяти шагов, стреляя в лезвие ножа, он разрезал пулю пополам; верхом на лошади воплощал легендарного кентавра; с изяществом правил экипажем, запряжённым цугом; был проворен, как Керубино; был тих, как ягнёнок, но свалил бы любого парня из рабочего предместья в жестокой борьбе «сават» или на дубинках; играл на фортепиано так, что в случае нужды мог бы выступать как музыкант, и обладал голосом, который у Барбальи приносил бы ему пятьдесят тысяч франков в сезон. Увы! все его превосходные качества, очаровательные недостатки бледнели перед снедающим его ужасным пороком — он не верил ни мужчине, ни женщине, не верил ни в Бога, ни в черта. Таким его создала своенравная природа, а священник довершил её дело.

Дабы все было ясно в этой истории, мы должны сразу сказать, что лорд Дэдли, разумеется, встречал немало женщин, склонных одарить его другими экземплярами прелестного портрета. Вторым его шедевром в том же духе была молодая девушка по имени Эвфемия, рождённая от испанки, воспитанная в Гаванне, а затем перевезённая в Мадрид вместе с молоденькой креолкой, уроженкой Антильских островов, и со всеми разорительными привычками колоний, однако счастливо выданная замуж за старого и

сказочно богатого испанского сеньора дон Ихоса, маркиза де Сан-Реаль, который после оккупации Испании французскими войсками переехал в Париж и поселился на улице Сен-Лазар. Щадя невинность юного возраста, а может быть и просто по беспечности, лорд Дэдли ничего не говорил своим детям об их родне, рассеянной им по белу свету. Это одно из маленьких неудобств цивилизации, но оно искупается такими преимуществами, что приходится прощать приносимые ею беды за все расточаемые ею блага. Чтобы больше не возвращаться к лорду Дэдли, прибавим, что в 1816 году он обрёл себе пристанище в Париже, спасаясь от преследования английского правосудия, поощряющего Восток лишь в торговых делах. Увидав как-то Анри, странствующий лорд заинтересовался, кто этот обольстительный юноша. И, узнав его имя, обронил:

— Ах! Жалко, что это мой сын!

Такова была история молодого человека, который в середине апреля 1815 года, блистая величавым спокойствием, свойственным животному, сознающему свою силу, беспечно прогуливался по главной аллее Тюильрийского сада; мещанки наивно оглядывались на него; другие женщины не оборачивались, выжидали, когда он пройдёт ещё раз, старались запечатлеть в памяти его образ и затем при случае вспомнить пленительное лицо, которое было бы под стать и самому красивому женскому телу.

«Что делаешь ты здесь? — ведь нынче воскресенье!» — спросил его, проходя мимо, маркиз де Ронкероль.

«Рыбка клюнула!» — отвечал молодой человек.

Этим вопросом и ответом они обменялись без слов, лишь при помощи двух многозначительных взглядов, и ни де Ронкероль, ни де Марсе виду не подали, что знакомы друг с другом. Молодой человек наблюдал за гуляющими, как истый парижанин, который, казалось бы, ничего не видит и не слышит, тогда как его тонкий слух и быстрый взгляд все улавливает, все примечает.

Через минуту к нему подошёл другой молодой человек и, непринуждённо взяв его под руку, сказал:

— Как дела, дружище де Марсе?

— Да превосходно! — ответил де Марсе с той показной сердечностью, которая среди молодых парижан ровно ничего не обещает ни в настоящем, ни в будущем.

И правда, парижская молодёжь не похожа на молодёжь других городов. Она делится на два класса: одни — молодые люди имущие, другие — неимущие, или иначе: одни накапливают мысли, другие — расточают деньги. Но знайте, речь идёт лишь о прирождённых парижанах, которые наслаждаются всеми удобствами изысканной столичной жизни. Существуют там, бесспорно, и другие молодые люди; однако это невинные младенцы, они слишком поздно познают радости парижского существования и остаются в дураках. Они, как принято говорить, не гоняются за наживой, они поглощают знания, или, как выражаются некоторые, корпят над своими книгами. Наконец, среди богатых и среди бедных молодых людей встречаются и такие, что никогда не сворачивают с пути, выбранного ими раз навсегда, в них есть что-то от Эмиля из романа Руссо, они жалкие рабы гражданского долга, и вы никогда не увидите их в свете. Дипломаты не стесняясь называют их глупцами. Глупцы они или нет, но в значительной степени они увеличивают число посредственностей, под бременем которых сгибается Франция. Они никогда не переводятся, всегда все калечат, подгоняя общественные и частные дела под общую мерку, похваляются своим бессилием, величая его добропорядочностью и честностью. Эти люди, своего рода первые ученики в общественной жизни, заражают своим присутствием чиновничество, армию, суд, двор, палаты. Они способствуют измельчанию и опошлению страны и в общественном организме выполняют роль лимфатической жидкости, которая отяжеляет и расслабляет тело. Эти высококонрастные личности называют талантливых людей распутниками и шутами. Но если плуты заставляют оплачивать свои услуги, то все же услуги они оказывают, тогда как эти людишки только вредят и злоупотребляют почитанием толпы; к счастью для Франции, её блестящая молодёжь то и дело клеймит их именем тупиц.

Итак, с первого взгляда можно отчетливо различить две разновидности среди молодых людей, вкушающих изысканную жизнь среди этой очаровательной корпорации, к которой принадлежал и Анри де Марсе. Однако проницательные наблюдатели, смотрящие в корень вещей, скоро убеждаются, что это различие чисто нравственного порядка и ничто так не обманчиво, как эта блестящая мишура. Что бы там ни было, все они одинаково уверены в своем превосходстве над миром, толкуют вкривь и вкось события, людей, литературу, искусство; всегда носятся с новыми Питтами и Кобургами; обрывают серьезную беседу каламбуром, потешаются над наукой и учеными; презирают все, чего не знают или чего боятся; ставят себя превыше всего, провозглашая себя первыми судьями во всех вопросах. Все они дурачат своих отцов, выманивая у них деньги, и готовы проливать крокодиловы слезы на груди у своих матерей; обычно они ни во что не верят, злословят о женщинах или прикидываются скромниками, а на деле пляшут под дудку какой-нибудь низкой куртизанки или содержащей их старухи. Все они испорчены до мозга костей расчетливостью, развратом, грубым стремлением к житейским успехам, и при внимательном исследовании можно обнаружить, что все они страдают *каменной* болезнью... сердца. В обычных условиях они красивы, обаятельны, всегда склонны к проявлению дружеских чувств. Зубоскальство — неизменная основа их изменчивого жаргона; они бьют на оригинальность в своей одежде, с упоением повторяют очередную пошлость какого-нибудь модного актера и при встрече с любым новым для них человеком стараются обезоружить его своим презрением и дерзостью, чтобы сразу взять над ним верх; и горе тому, кто не стерпит обиды, не отложит на будущее расплату за нее по правилу — два ока за око. Кажется, все они одинаково равнодушны к несчастьям и бедствиям своей отчизны. Словом, они подобны красивой белой пене, вскипающей на волнах бурного моря. Они наряжаются, объедаются, танцуют, веселятся и в день битвы при Ватерлоо, и в холерный год, и во время революции. Притом у всех примерно одни и те же расходы, — но здесь и намечается между ними некоторое различие. Одни обладают уже капиталом, позволяющим им так восхитительно расточать дары капризной фортуны, другие только рассчитывают его обрести; все они шьют у одних и тех же портных, но счета у некоторых еще не оплачены. Кроме того, если одни, у которых головы, как решето, нахватавшись чужих мыслей, не могут удержать ни одной, то другие разбираются в них и усваивают все лучшее. Если одни воображают, что знают многое, на самом же деле ничего твердо не знают, но обо всем судят, если они навязывают свое достояние тем, кто ни в чем не нуждается, и ничего не дают тем, кто испытывает нужду, — другие тайно изучают мысли своего ближнего и ловко извлекают из своих денег, так же как из своих увлечений, огромную выгоду. Одни уже утратили способность к верным впечатлениям, ибо душа их, подобно потускневшему старому зеркалу, ничего уже не воспринимает, — другие берегут свои чувства и жизнь, хотя и кажется, что растрачивают их не меньше, чем первые. Одни, не по убеждению, а лишь в погоне за успехом, примыкают к какой-нибудь политической системе, увлекаемые попутным ветром против течения, но, лишь только ветер подует в другую сторону, бросают свою ладью и пересаживаются в новую, — другие же заглядывают в будущее и видят в политической верности то, что англичане — в торговой честности: залог успеха. Там, где благополучный молодой человек щеголяет каламбуром или острым словцом по случаю нового политического курса, взятого тронем, тот, у кого ничего нет за душой, не скрывая от общества своих гнусных расчетов или идя на тайную подлость, добивается всего, спокойно пожимая руки своим друзьям. Одни никогда не верят в чужие способности, все свои мысли считают открытием, как если бы мир был сотворен лишь накануне, питают безграничную веру в самих себя — и сами себе вредят больше, чем жесточайший враг. Но другие облеклись в броню неизменной осторожности в отношении к людям, знают им настоящую цену и достаточно предусмотрительны, чтобы иметь про запас одним замыслом больше, чем эксплуатируемые ими друзья; и вот вечером, положив голову на подушку, они определяют вес разных людей, как скупец взвешивает слитки золота. Одних бесит и самая пустяковая дерзость, а между тем они становятся посмешищем дипломатов, которые играют ими как картонными паяцами, дергая за верёвочку, именуемую самолюбием, тогда как

другие заставляют себя уважать и умеют найти себе и жертву и покровителя. И вот наступает день — и те, кто ничего не имел, приобретают многое, те же, кто обладал многим, теряют все. Эти последние расценивают товарищей своих, добившихся положения, как изолгавшихся подлецов, но вместе с тем как сильных людей. «Он очень силен!» — это величайшая похвала, получаемая теми, кто *quibuscumque viis*<sup>2</sup> добился политического успеха, связи с женщиной или богатства. Среди них встречаются молодые люди, которые начинают с того, что обзаводятся долгами, и, естественно, они опаснее тех, кто вступает в игру лишь не имея ни гроша за душой. Молодой человек, называвший себя другом Анри де Марсе, был шалопай из провинциалов, и тогдашняя модная молодёжь обучала его искусству проматывать наследство; однако в провинции у него ещё оставались кое-какие крохи, некоторый спасительный запас. Попросту говоря, это был юноша, который сразу, после жалкого существования на сто франков в месяц, оказался наследником всего отцовского имущества. Но если он не был настолько умен, чтобы понять, как над ним издеваются, то обладал все же известной расчётливостью, чтобы сохранить две трети своего состояния. Проматав в Париже несколько тысяче-франковых билетов, он зато постиг все значение хорошей упряжи, небрежного обращения с перчатками, усвоил мудрые суждения о жалованье, которое следует выплачивать прислуге, и о наиболее выгодных условиях её найма; он обучился искусству говорить в надлежащих выражениях о своих лошадях, о своей пиренейской собаке; распознавать женщин по их манерам, походке, ботинкам; научился игре в экарте, запомнил несколько модных словечек и приобрёл, вращаясь в парижском свете, необходимый авторитет для того, чтобы впоследствии привить провинции вкус к чаю, к столовому серебру английского образца и обрести право презирать до конца дней своих все, что его окружает. Де Марсе удостоил его своей дружбой, чтобы воспользоваться его услугами в свете, подобно тому как смелый биржевой делец пользуется услугами доверенного приказчика. Дружба де Марсе, притворна она была или истинна, давала положение в обществе Полю де Манервилю, который сам считал, что умеет кое-чего добиваться, и по-своему тоже эксплуатировал своего приятеля. Он сверкал отражениями де Марсе, вертелся около него, во всем ему подражая, купаясь в его лучах. Разговаривая с Анри или даже идя с ним рядом, он как будто заявлял всем: «Не троньте нас, мы — сущие тигры!» Нередко позволял он себе чванливо заявлять: «Стоит мне попросить Анри о чем-нибудь, и он все сделает для меня, во имя нашей дружбы».

Однако он старался не докучать ему никакими просьбами. Он боялся его, и эта боязнь, хотя и тщательно скрываемая, передавалась другим и шла на пользу де Марсе.

«Редкий человек этот де Марсе, — говаривал Поль. — О! вот сами увидите, он своего добьётся. Я не удивлюсь, если в один прекрасный день он станет министром иностранных дел. Для него нет преград». И он прибегал к имени де Марсе, как капрал Трим к своей шапке, в качестве последней ставки:

«Спросите у де Марсе, и сами увидите».

Или же:

«На днях охотились мы с де Марсе, и он верить мне не хотел, что я перескочу через куст, не шевельнувшись в седле, но я это ему доказал».

Или:

«Были мы недавно с де Марсе у женщин, и, клянусь честью, я...» и т. п.

Итак, Поля де Манервиля можно было отнести к великому, славному и могущественному семейству преуспевающих ничтожеств. Он должен был со временем стать депутатом. А пока это было нечто неопределённое.

Де Марсе характеризовал своего друга так: «Вы спрашиваете у меня, что представляет собой Поль? Поль? — Поль де Манервиль! — этим все сказано».

— Я поражён, мой милый, встретив вас здесь в воскресный день, — сказал Поль.

---

<sup>2</sup> Какими бы то ни было путями (лат.).

— Я только что хотел сказать тебе то же самое.

— Что, интрижка?

— Да.

— Вот оно что!

— Тебе, конечно, я могу об этом рассказать, не компрометируя предмета моей страсти. Да притом женщина, посещающая Тюильри по воскресеньям, не имеет никакого значения для нас, аристократов.

— Ха-ха!

— Замолчи, или я ничего тебе больше не скажу. Ты слишком громко смеёшься, могут подумать, что мы выпили лишнее. В прошлый четверг я прогуливался здесь по террасе Фельянов, ни о чем не думая. Но, дойдя до выхода на улицу Кастильоне и собираясь уже уходить из сада, я столкнулся лицом к лицу с женщиной, вернее с молоденькой девушкой, которая бросилась бы мне в объятия, не удержи её, как мне кажется, не столько чувство приличия, сколько глубокое изумление, которое расслабляет руки и ноги, пронизывает все ваше существо и доходит до самых пят, как бы для того, чтобы пригвоздить вас к месту. Я нередко произвожу подобное впечатление, в этом своеобразно проявляется животный магнетизм, который чрезвычайно возрастает, лишь только осложняются взаимоотношения между людьми. Но, мой милый, на этот раз было не простое изумление, и сама девушка не была обыкновенной, каких много. На языке страстей её лицо, казалось, говорило: «Как! это ты, мой идеал, властитель всех дум моих, тот, о ком я грежу все ночи напролёт? Что привело тебя сюда? почему именно сегодня утром? почему не вчера? Бери меня, я твоя», и т. п. «Чудесно, — подумал я, — вот ещё одна». Я стал её разглядывать. Ах, мой милый, моя незнакомка как женщина — самая очаровательная из всех, каких я когда-либо встречал. Она принадлежит к той породе женщин, какую римляне называли *fulva, flava*, огненная женщина. И особенно поразили меня — да так, что я не в силах забыть, — её жёлтые, как у тигра, глаза; жёлтое, горящее золото их — золото живое, золото мыслящее, золото любящее и желающее во что бы то ни стало попасть вам в руки.

— Кто же её не знает, мой милый! — воскликнул Поль. — Она иной раз прогуливается здесь, это *Златоокая девушка*. Мы так прозвали её. Это — молодая особа лет двадцати двух, я видел её здесь ещё при Бурбонах, но не одну, а с женщиной, которая во сто тысяч раз лучше её.

— Замолчи, Поль! Это невысказано, ни одна женщина не может быть лучше этой девушки, похожей на кошку, которая, ласкаясь, трётся у ваших ног, девушки с белоснежной кожей и пепельными волосами, такой тонкой, изящной, но непременно с золотистыми волосками у третьего сгиба пальцев и светлым пушком на щеках, который золотится в солнечный день.

— Ах! но другая, мой милый Марсе!.. У неё чёрные, горящие, никогда не знававшие слез глаза; чёрные сросшиеся брови, придающие ей суровый вид, что не вяжется с мягкой линией её рта, на котором и следа не оставляют поцелуи; жгучие и свежие губы; знойный цвет лица, словно солнце, согревающий человека... но, клянусь честью, до чего ты похож на неё!

— Ты ей льстишь!

— У неё красиво выгнутая спина, округлая линия бёдер, эта женщина похожа на лёгкую яхту, так и созданную для набегов, яхту, которая с французской стремительностью кидается на торговые корабли, разит их и в два счета пускает ко дну.

— Но, мой милый, что мне за дело до той, которой я не видел? С тех пор как я изучаю женщин, только одна моя незнакомка своей девственной грудью, своими пышными, сладострастными формами воплотила образ той единственной женщины, о которой я грезил! Она оригинал картины-фантазмагии «*Женщина, ласкающая свою химеру*», являющейся плодом самого пылкого, самого адского вдохновения античного гения, святой поэзией, проституированной копировальщиками на фресках и мозаике, на потребу кучки мещан (для которых камейка — лишь брелок к ключику от их часов), тогда как здесь воплощена вся

женщина, неисчерпаемая бездна наслаждения, поглощающая вас, но так и не познанная вами до конца, тогда как это идеальная женщина, какие ещё встречаются иногда в Испании, Италии, но почти никогда не встречаются во Франции. Так вот, я опять видел эту златооую девушку, эту женщину, ласкающую химеру, я видел её здесь в прошлую пятницу. Я предчувствовал, что она придёт сюда на другой день, в тот же самый час, и не ошибся. Мне доставляло удовольствие идти за ней, скрываясь от её взоров, изучать её беспечную походку праздной женщины, её движения, в которых угадываешь дремлющее сладострастие. Она обернулась, она увидела меня, опять одарила меня взглядом, полным обожания, опять задрожала, затрепетала. И тогда я заметил охранявшую её настоящую испанскую дуэнья, гиену в женском платье, старую чертовку, нанятую за хорошую плату каким-нибудь ревнивцем, чтобы стеречь это пленительное существо... Ах! дуэнья пробудила во мне любопытство, а оно ещё разожгло мою любовь. В субботу никто не пришёл. И вот сегодня я снова поджидаю деву, химерой которой стал я сам, и ничего мне больше не надо, как, уподобясь чудовищу с фрески, лежать у её ног.

— Да вот и она! — сказал Поль. — Видишь, все оглядываются на неё...

Незнакомка зарделась румянцем, глаза её сверкнули при виде Анри, она закрыла их и прошла мимо.

— Так ты говоришь, она дарит тебя своим вниманием? — шутливо заметил Поль де Манервиль Дуэнья пристально и внимательно посмотрела на обоих молодых людей. Когда же незнакомка и Анри снова повстречались, молодая девушка как будто невзначай задела его и сжала своей рукой его руку. Затем она повернула к нему голову и страстно ему улыбнулась, но дуэнья поспешно увлекла её за собой к выходу на улицу Кастильоне. Два друга пошли за молодой девушкой, восхищаясь великолепным изгибом её груди, линиями затылка и шеи, на которую опускалось несколько завитков непокорных волос. У Златоокой девушки были изящные, точёные ножки с высоким подъёмом, что так пленяет сладострастное воображение. Неудивительно, что владелица этих ножек носила особенно элегантную обувь и короткое платье. Она порой оглядывалась на Анри и с видимой неохотой шла за своей старой спутницей, для которой, казалось, была одновременно и госпожой и рабой: могла бы приказать, чтобы её избili, но не смела прогнать её. Все это бросалось в глаза. Оба друга подошли к выходу. Два ливрейных лакея откинули подножку элегантной кареты, украшенной гербами. Златоокая девушка села первая, занимая место с той стороны, откуда можно было бы увидеть её при повороте кареты; держась за дверцу, она тайком от дуэньи махнула Анри платком, пренебрегая тем, что скажут любопытные зеваки, и откровенно давая ему знак: «Следуйте за мной!»

— Можно ли яснее объясниться с помощью платка? — спросил Анри, обращаясь к Полю де Манервилю.

Заметив, что неподалёку только что освободился фиакр, он знаком остановил кучера, собиравшегося ехать дальше.

— Следуйте за каретой, заметьте улицу и дом, где она остановится, — я дам вам десять франков. Прощай, Поль!

Фиакр двинулся за каретой. Карета въехала на улицу Сен-Лазар и остановилась перед одним из лучших особняков этого квартала.

Де Марсе не отличался безрассудством. Всякий другой молодой человек на его месте уступил бы желанию разузнать что-нибудь о девушке, воплотившей в себе самые лучезарные образы женщин, созданных восточной поэзией; но Анри был слишком хитёр для того, чтобы из-за такой поспешности потерпеть неудачу в своём любовном приключении, он поехал не останавливаясь дальше по улице Сен-Лазар, а затем домой. На другой день его камердинер, по имени Лоран, хитрый малый, под стать Фронтену из старой комедии, неподалёку от дома, где жила незнакомка, поджидал часа, когда почтальон разносит почту. Чтобы сподручнее было шпионить и рыскать около особняка, Лоран, как это делают в подобных случаях полицейские, изменил свой вид, переодевшись в поношенное платье овернца, нарочно им купленное, придав тем себе соответствующий облик. Когда появился почтальон,



обслуживающий в это утро улицу Сен-Лазар, Лоран прикинулся рассыльным, позабывшим имя того лица, которому должен был вручить пакет, и обратился с вопросом к почтальону. Обманутый в первую минуту обликом Лорана, сей персонаж, столь своеобразный на фоне парижской цивилизации, сказал ему, что особняк, где живёт Златококая девушка, принадлежит дону Ихосу, маркизу де Сан-Реаль, испанскому гранду. Само собой разумеется, «овернец» был послан не к маркизу.

— Я должен передать пакет маркизе.

— Она уехала, — ответил почтальон. — Её письма пересылают в Лондон.

— Стало быть, маркиза не та молодая девушка, что...

— Ага! — перебил камердинера почтальон, внимательно в него вглядываясь. — Да ты такой же рассыльный, как я танцор.

Лоран показал несколько золотых монет болтливому почтальону, и тот сразу повеселел.

— Ну-с, вот вам имя вашей пташки, — сказал он, вынимая из кожаной сумки письмо с лондонским штемпелем и показывая адрес, написанный острым и тонким почерком, обличающим женскую руку: «Мадемуазель Паките Вальдес, улица Сен-Лазар, дом Сан-Реаль. Париж».

— Надеюсь, вы не откажетесь от бутылочки шабли, от дюжинки-другой устриц и от жаркого с шампиньонами, — предложил Лоран, стараясь завоевать драгоценную дружбу почтальона.

— В половине десятого, когда разнесу письма... А где?

— На углу Шоссе д'Антен и улицы Нев-де-Матюрен, под вывеской «Кладезь трезвости».

— Послушайте, приятель, — сказал почтальон, встретившись через час с камердинером, — если ваш хозяин влюбился в эту девушку — нелёгкое дело ему выпало. Сомнительно, чтобы вам удалось к ней проникнуть. Вот уже десять лет работаю я почтальоном в Париже, каких только дверей и замков я не перевидал! Но могу заверить вас, — спросите хоть кого из почтальонов, все это подтвердят! — таких таинственных дверей, как в особняке маркизы де Сан-Реаль, нет нигде. Никто не может войти в этот дом без какого-то условного словца; и, заметьте, недаром эти люди выбрали особняк, окружённый двором и садом, — из других домов его и не видать! Швейцар там старый испанец, слова по-французски не скажет, но прощупает тебя взглядом, что твой Видок, словно ты воровать пришёл. И даже если, к примеру, любовнику, вору или, скажем, вам удастся обмануть привратника, так в первом зале, за стеклянной дверью, натолкнёшься на мажордома с кучей лакеев, — а этот старый чудила ещё нелюдимей и угрюмей, чем швейцар. Войдёте в ворота, так все равно мажордом вылезет вам навстречу и дальше крыльца не пустит, да ещё учинит вам допрос, совсем как преступнику.

Это приключилось со мной, простым почтальоном. Он, верно, принял меня за какого-нибудь корреспондента, хоть, правда, я и разношу корреспонденцию, — сказал почтальон и сам рассмеялся, довольный своей нескладной остротой. — Ну, а от прислуги и не надейтесь что-нибудь вытянуть: немые они, что ли, только никто в квартале от них живого слова не слыхивал; уж не знаю, какое жалованье им платят, чтобы они держали язык за зубами да в рот спиртного не брали, верно только, что к ним не подступиться: не то боятся, что их пристрелят, не то уж очень большие деньги им придётся потерять, если проболтаются. Если хозяин ваш настолько любит мадемуазель Пакиту Вальдес, что преодолет все препятствия, ему все равно не справиться с доньей Кончей Мариальной; эта дуэнья неотступно сопровождает девушку и готова, кажется, упрятать её под свою мантилью, лишь бы не отпустить её от себя. Они словно пришиты друг к другу.

— Вы только подтвердили, уважаемый господин почтальон, то, что мне уже приходилось слышать, — сказал Лоран, смакуя вино. — Честное слово, а я-то думал, что надо мной потешались. Хозяйка овощной лавки, там, напротив, рассказывала мне, что на ночь в сад спускают собак, подвешивая им мясо к столбам повыше, чтобы они не могли

достать до него. А если кто пытается войти в сад, эти проклятые псы бросаются на него, как на врага, отнимающего у них добычу, и готовы растерзать его на части. Вы мне скажете, что им можно швырнуть другой кусок мяса, но, кажется, их приучили есть не иначе как из рук швейцара.

— Да, то же самое мне рассказывал привратник барона де Нусингена, сад которого примыкает к особняку Сан-Реаль.

«Вот и отлично! Барин его знает!» — подумал Лоран.

— Знаете что? — сказал он почтальону, искоса поглядывая на него. — Хозяин мой охулки на руку не положит, и задумай он поцеловать пятку самой императрицы, то уж не миновать ей этого! Если бы вы ему понадобились, — чего я вам от души желаю, так как человек он щедрый, — скажите, можно ли рассчитывать на вас?

— Да ради Бога, господин Лоран! Зовут меня Муано, на букву «мэ», как барашек блеет.

— Ладно, запомню, что на «мэ», — усмехаясь согласился Лоран. — Живу я на улице Трех Братьев, в номере одиннадцатом, на шестом этаже, — продолжал Муано, — у меня жена и четверо детей. Если то, что от меня потребуется, не будет противно моей совести и служебным обязанностям, — вы понимаете? — я весь к вашим услугам!

— Вы славный мальчик, — сказал ему Лоран, пожимая руку.

Когда камердинер доложил Анри о результатах своих трудов, тот заметил:

— Пакита Вальдес, как видно, любовница маркиза де Сан-Реаль, друга короля Фердинанда. Только испанские мозги этого восьмидесятилетнего трупа способны выдумать подобные меры предосторожности.

— Сударь, — обратился к нему Лоран, — не попасть вам туда, разве что спуститься на воздушном шаре.

— Ну и дурак! Да к чему нам забираться в дом, чтобы добыть Пакиту, когда Пакита сама может оттуда выйти?

— Но, сударь, как же быть с дуэньей?

— Запрём мы дуэнью на несколько дней, вот и все.

— Стало быть, Пакита — наша! — воскликнул Лоран, потирая руки.

— Ах ты, негодник! — прикрикнул на него Анри. — Берегись, я отдам тебя на усладу дуэнье, если будешь так нагло говорить о женщине, которой я ещё не обладал... Поддай мне одеться, я ухожу из дому.

Минуту Анри предавался радостным мыслям. Не в укор женщинам будь это сказано — стоило ему только пожелать, и он добивался любой из них. И действительно, что стоит женщина, если, не имея любовника, она устояла бы перед молодым человеком, который наделён красотой, одухотворяющей тело, наделён умом, украшающим душу, наделён волей и богатством — этими источниками подлинного могущества? Но столь быстрые победы не могли не надоесть победителю, вот почему уже около двух лет де Марсе отчаянно скучал. Погружаясь в пучину сладострастия, он выносил оттуда больше гравия, чем жемчуга. Итак, в конце концов он уподобился монархам и, как они, стал молить судьбу послать ему какое-нибудь трудное препятствие, мечтал о каком-нибудь приключении, которое требовало бы от него затраты всех духовных и физических сил, пребывающих в полном бездействии. Хотя Пакита Вальдес являла собой дивное сочетание всех совершенств, которыми доселе он в других женщинах наслаждался лишь порознь, однако он почти не испытывал к ней чего-либо, похожего на страсть. Лёгкость, с какой он удовлетворял свои желания, ослабила в его сердце чувство любви. Подобно старцам и всем пресыщенным людям, он увлекался только сумасбродными выходками, разрушительными страстями.

Увлекался прихотями, удовлетворение которых не оставляло в сердце его никакого тёплого воспоминания. Для юноши любовь — самое прекрасное чувство, она — цветение его души; под её солнечно-яркими лучами пышно распускаются самые вдохновенные и высокие мысли; в первых плодах всегда есть особая прелесть. У зрелого мужчины любовь становится страстью, сила приводит к излишествам. У старика любовь превращается в порок, бессилие приводит к разврату. Анри был в одно и то же время старик, зрелый

мужчина и юноша. Чтобы испытать волнение настоящей любви, ему, как и Ловласу, необходима была Кларисса Гарлоу. Без чудотворного сияния такой редкостной жемчужины его страсть могло подхлестнуть лишь тщеславие парижанина либо надуманное решение довести ту или иную женщину до той или иной степени разврата, либо, наконец, острое любопытство. И вот, доклад камердинера Лорана сразу придал Златоокой девушке огромную цену. Предстояло дать бой некоему тайному врагу, по-видимому столь же опасному, сколь и ловкому; чтобы одержать победу, необходимо было пустить в ход все силы, подвластные Анри. Он собирался разыграть старую и вечно новую комедию, где обязательными персонажами являются старик, молодая девушка и любовник — дон Ихос, Пакита, де Марсе. Если Лоран и мог сойти за Фигаро, то дуэнья казалась совершенно неподкупной. Так действительный случай завязал узел пьесы покрепче самого искусного драматурга! Но разве случай — не своеобразный гений?

«Надо быть начеку», — решил про себя Анри.

— Ну, как твои дела? — обратился к нему Поль де Манервиль, входя в комнату. — Я пришёл позавтракать вместе с тобой.

— Вот и хорошо! Ты не рассердишься, если я буду одеваться при тебе?

— Что за странный вопрос!

— Да ведь мы нынче все перенимаем у англичан, так что сами понемногу превращаемся в ханжей и лицемеров, — сказал Анри.

Лоран принёс своему барину столько различных туалетных принадлежностей и приборов и столько разных прелестных вещиц, что Поль не удержался, чтобы не сказать:

— Да ты провозишься добрых два часа!

— Нет, — поправил его Анри, — два с половиной.

— Вот что, сейчас мы с тобой одни и можем говорить начистоту, — объясни же мне, почему такой недюжинный человек, как ты, — ибо ты в самом деле недюжинный человек, — почему ты так подчёркиваешь своё щегольство, которое так не идёт к тебе. Зачем наводишь на себя лоск битых два с половиной часа, когда достаточно принять пятнадцатиминутную ванну, быстро причесаться и одеться. Ну, объясни мне свою систему.

— Знаешь ты, толстый дуралей, я в самом деле люблю тебя, если готов поделиться с тобой своими высокими идеями, — ответил юноша, которому в это время при помощи мягкой щётки натерли ноги английским мылом.

— Но ведь и я выказал тебе самую искреннюю привязанность, — заметил Поль де Манервиль, — и я люблю тебя, признаю твоё превосходство над собой..

— Ты должен был заметить, — если только вообще ты способен наблюдать душевные явления, — что женщины любят фатов, — продолжал де Марсе, ответив одним только взглядом на излияния Поля. — Понимаешь ли ты, почему женщины любят фатов? Пойми, дружище, ведь одни только фаты среди мужчин заботятся о собственной особе. Разве у окружающих не возникает мысль, что это чрезмерное внимание к себе — забота о достоянии своей возлюбленной? А женщины падки именно до тех мужчин, которые принадлежат другой. Любовь в сокровенной сущности своей — воровка. Я уже не говорю о том, что женщины помешаны на чистоплотности. Укажи мне хоть одну женщину, которая вспылала бы страстью к мужчине-замарашке, будь он самым исключительным человеком! Если подобные случаи и наблюдаются, то их надо рассматривать наравне с прихотями беременных женщин, как сумасбродство, которому все мы отдаём дань. И сколько видел я исключительно интересных людей, отвергнутых женщинами за нерадивое отношение к своей собственной особе Фат исключительно занят собой, то есть занят всякими глупостями, пустячками А что представляет собой женщина? — изящный пустячок, скопление глупости! Разве двумя обронёнными словами нельзя задать ей работу на добрых четыре часа? Она не сомневается, что фат обратит на неё свои взоры, ибо ему до чего-нибудь значительного нет никакого дела. Он никогда не пренебрежёт ею ради славы, честолюбия, политики, искусства — этих великих куртизанок, в которых она видит своих соперниц. Фат, наконец, ради женщины не побоится стать мишенью для насмешек, и сердце её преисполнено

благодарности к человеку, страдающему из-за любви к ней. А потом, ни один фат не проявит себя фатом без достаточных оснований. Женщины сами возводят нас в этот чин. Фат — полковник в любви, удачливый волокита, командир женского полка! Милый мой, в Париже ничего не утаишь, и ни один мужчина не станет фатом ни с того ни с сего — *gratis*<sup>3</sup>. Возьмём, например, тебя: у тебя одна любовница, и, возможно, ты прав, имея всего одну, но только попробуй стать фатом — ты не будешь даже смешным, ты просто убьёшь себя. Ты станешь ходячим образцом власти предрассудков, твоя репутация будет установлена раз навсегда. Ты будешь воплощать глупость, как Лафайет воплощает *Америку*, Талейран — *дипломатию*, Дезожье — *песню*, Сегюр — *романс*. Если они изменят своему жанру, никто не поверит в целесообразность их существования. Ничего не поделаешь, таковы уж французы — не жди от них справедливости. А между тем господин де Талейран, возможно, великий финансист, Лафайет — тиран, Дезожье — администратор. Попробуй, заведи в будущем году сорок любовниц, — общество не признает за тобой и одной. Итак, фатовство, дружисце, — признак непререкаемой власти, завоёванной над женской породой. На мужчину, любимого многими женщинами, смотрят как на человека великих достоинств, и все наперебой стараются завладеть бедняжкой! Но, поверь, мне не дёшево это стоит — иметь право, входя в гостиную, посмотреть на всех с высоты своего галстука или через монокль и смерить презрительным взглядом самого достойного человека, если только на нем жилет, вышедший из моды! — Лоран, ты делаешь мне больно! — Позавтракаем, Поль, а потом отправимся в Тюильри взглянуть на дивную Златоокою девушку.

Прогуливаясь после великолепного завтрака, оба друга исходили из конца в конец всю террасу Фельянов и главную аллею Тюильри, но так и не встретили восхитительной Пакиты Вальдес, ради которой съехалось сюда с полсотни элегантных молодых парижан, благоухающих мускусом, шеголяющих высокими галстуками, звенящих шпорами, помахивающих хлыстами, гуляющих, болтающих, хохочущих и, чтобы превзойти друг друга, готовых лезть из кожи вон.

— Прогулялись впустую, — сказал Анри. — Однако мне пришла в голову блестящая идея. Наша красавица получает письма из Лондона, надо подкупить или подпоить почтальона, раздобыть у него письмо, вскрыть, прочесть его, вложить в конверт любовную записочку и снова запечатать. Старый тиран *cruel tirano*, — вероятно, знает, кто пишет Паките из Лондона, и ничего не заподозрит.

На другой день де Марсе опять прогуливался на освещённой солнцем террасе Фельянов и увидел там Пакиту Вальдес; его уже разгорячённому страстью взору она казалась ещё прекраснее. В самом деле, его сводили с ума её глаза, огонь которых, казалось, был сродни солнечным лучам и был насыщен жаром всего её дивного тела, полного сладострастной прелести. Де Марсе горел желанием коснуться платья этой обольстительной девушки, когда, прогуливаясь, они встречались друг с другом; но все попытки его были тщетны. И вот, когда ему наконец удалось опередить дуэнью и Пакиту, чтобы при повороте пройти со стороны Златоокою девушки, — Пакита, сама сгоравшая от нетерпения, быстро шагнула вперёд, и де Марсе почувствовал, как она сжала ему руку, хотя лишь на один миг, но столь страстно и значительно, что он ощутил как бы разряд электричества, потрясший его с головы до ног. И сразу все юношеские чувства забили ключом в его сердце. Когда взоры влюблённых встретились, Пакита как будто смутилась; она потупила глаза, но её взгляд скользнул по стану и ногам того, кто стал её победителем, как выражались женщины до революции. «Чего бы это ни стоило, но эта девушка будет моей любовницей», — решил Анри.

Идя за ней до конца террасы, со стороны площади Людовика XV, он увидел старого маркиза де Сан-Реаль, который прогуливался, опираясь на руку своего камердинера и ступая осторожно, как разбитый подагрой, дряхлый старик. Донья Конча, в которой Анри вызвал подозрения, устроила так, чтобы Пакита шла между нею и стариком.

---

<sup>3</sup> Даром (лат.).

«Ах так! — подумал де Марсе, окидывая презрительным взглядом дуэнью. — Ну что же, если ты не хочешь сдаться, небольшая доза опиума тебя усыпит. Мы знакомы с мифологией и со сказанием об Аргусе».

Прежде чем сесть в экипаж, Златоокая девушка бросила своему возлюбленному несколько взглядов, столь значительных, что Анри был восхищён; но, перехватив один из них, дуэнья резко сказала что-то Паките, после чего та в отчаянии бросилась в карету. В течение нескольких дней Пакита не появлялась в Тюильри. Лоран, по приказу своего господина, наблюдал за особняком и узнал от соседей, что ни обе женщины, ни старый маркиз ни разу не выходили из дому с того самого дня, когда дуэнья перехватила взгляд, которым обменялась с Анри девушка, порученная её попечением. Итак, даже та слабая нить, что соединяла двух влюблённых, была оборвана.

Прошло ещё несколько дней, и каким-то неведомым путём де Марсе добился своей цели; у него оказались в руках печать, воск и бумага, совершенно такие же, какими пользовался корреспондент мадемуазель Вальдес, приславший из Лондона письма, а кроме того, все почтовые принадлежности и штампы, необходимые для погашения английских и французских марок. Анри послал девушке письмо, придав ему такой вид, словно оно отправлено из Лондона:

«Дорогая Пакита, не стану и пытаться изобразить словами страсть, какую вы зажгли в моем сердце. Если, к моему великому счастью, вы её разделяете, то знайте: я нашёл способ переписываться с вами. Зовут меня Адольф де Гуж, и живу я на Университетской улице, в № 54. Если вы не ответите мне, это будет для меня означать, что за вами слишком строго следят, что у вас нет возможности достать перо и бумагу. Итак, если завтра от восьми часов утра до десяти часов вечера вы не перебросите письма через ограду вашего сада во двор барона де Нусингена, где будут ждать целый день, то на следующее утро в десять часов надёжный человек переправит на верёвке через ограду вашего сада два пузырька. Постарайтесь выйти на прогулку около этого времени. В одном из пузырьков будет опиум, чтобы усыпить вашего Аргуса, для чего достаточно шести капель; в другом будут чернила. Пузырёк с чернилами — гранёный, другой — гладкий. Оба настолько плоски, что вы можете их спрятать у себя за корсетом. Не сомневайтесь во мне. Клянусь, я готов отдать жизнь за один час свидания с вами».

«И они этому верят, дуручки! — подумал де Марсе. — А все же они правы. Что стали бы мы думать о женщине, которая не поддалась бы соблазну любовного письма, подкреплённого столь убедительными доказательствами?»

На другой день в восемь часов утра почтённый г-н Муано, почтальон, вручил это самое письмо привратнику особняка Сан-Реаль.

Чтобы находиться поближе к месту действия, де Марсе отправился завтракать к Полю, который проживал на улице Пепиньер. В два часа дня, когда друзья, смеясь, обсуждали крах некоего молодого человека, пытавшегося жить на широкую ногу, не имея на то достаточных средств, и придумывали для него достойный конец, вдруг появился кучер Анри, разыскивавший своего господина, в сопровождении какого-то страшного человека, желавшего во что бы то ни стало говорить с самим де Марсе. Это был мулат, и, право, он мог бы вдохновить Тальма при исполнении роли Отелло. Ни один африканец не мог бы больше походить на величаво-мстительного, склонного к неудержимой подозрительности, стремительного в своих поступках, могучего и детски непосредственного шекспировского мавра. Чёрные глаза его отличались пристальным взглядом хищной птицы и, словно у коршуна, были полуприкрыты как бы синеватой плёнкой — веками, совершенно лишёнными ресниц. В его маленьком, низком лбе чувствовалось что-то опасное. Очевидно, человек этот жил под властью какой-то одной мысли. Его нервные, беспокойные руки не были подвластны его воле. За ним вошёл ещё один человек, которого может представить себе любой обитатель земли, начиная с продрогших от холода гренландцев и кончая изнывающими от жары

жителями Новой Англии: достаточно для этого определить его одним словом — несчастливец. Это слово позволит каждому понять самую суть вошедшего человека и вообразить его себе в соответствии с представлениями своего родного края. Но чья фантазия может воспроизвести его бледное морщинистое лицо с красными пятнами на щеках, с длинной бородой? Кто может нарисовать перед собой его пожелтевший, скрученный жгутом галстук, засаленный ворот его рубашки, изношенную шляпу, позеленевший сюртук, жалкие панталоны, измятый жилет, булавку фальшивого золота, перепачканные башмаки с заскорузлыми грязными шнурками? Кто поймёт всю беспредельность его нищеты, настоящей и прошлой? Кто? — Одни только парижане. Парижский несчастливец — несчастливец в полном смысле этого слова, ибо он имеет печальное удовольствие понимать, сколь он несчастен. Мулат напоминал палача Людовика XI, сопровождающего человека на виселицу.

— И где только выудил ты этих шутов? — воскликнул Анри.

— Черт возьми! Один из них меня вгоняет в дрожь, — признался Поль.

— Послушай-ка, ты более похож на христианина, чем твой товарищ, — кто ты такой? — спросил Анри, обращаясь к несчастливцу.

Мулат замер на месте, вперив глаза в молодых людей, как человек, который ничего не слышит, но все же пытается что-то понять по жестам и движению губ.

— Я писец и переводчик. Живу я при Дворце правосудия, и зовут меня Пуансе.

— Ладно... Ну, а это кто? — спросил Анри, указывая Пуансе на мулата.

— Я не знаю его, он говорит только на испанском наречии и привёл меня сюда, чтобы объясниться с вами.

Мулат вытянул из кармана и отдал де Марсе письмо его к Па-ките, которое Анри тут же бросил в огонь.

«Ага! Кое-что начинает проясняться», — подумал Анри.

— Поль, оставь нас одних на минуту.

— Я перевёл ему письмо, — продолжал толмач, когда они остались одни. — После этого он исчез неизвестно куда. Затем вернулся за мной и повёл меня к вам, пообещав мне уплатить два луидора.

— Что тебе нужно, чудище? — спросил Анри.

— Я перевёл ему ваши слова, но без обращения «чудище», — заметил толмач в ожидании, пока мулат ответит. — Сударь, — продолжал затем переводчик, выслушав незнакомца, — он говорит, что вы должны быть завтра в половине одиннадцатого на бульваре Монмартр, около кофейни. Там вы увидите карету, в которую и сядете, сказав тому, кто откроет вам дверцы, слово *cortejo* ... что по-испански значит *возлюбленный*, — прибавил Пуансе, взглядом поздравляя Анри.

— Хорошо!

Мулат уже хотел дать толмачу обещанные два луидора, но де Марсе отстранил его и заплатил сам; когда он расплачивался, мулат произнёс несколько слов.

— Что он говорит?

— Он предупредил меня, — ответил несчастливец, — что стоит мне проговориться, и он задушит меня. Он язычник, и у него такое лицо, что этому охотно поверишь.

— Не сомневаюсь, — заметил Анри, — он сделает так, как обещает.

— Он сказал ещё, — продолжал толмач, — что особа, приславшая его, умоляет вас соблюдать величайшую осторожность ради неё и ради вас самих, ибо иначе кинжалы, занесённые над вами, поразят ваши сердца и никакие силы земные вас не спасут.

— Он так сказал? Что же, тем лучше, это будет ещё занятнее. Ты можешь войти, Поль, — крикнул он своему другу.

Мулат, не отводивший магнетического взгляда от возлюбленного Пакиты Вальдес, ушёл, сопровождаемый переводчиком.

«Наконец-то настоящее романическое приключение! — подумал Анри, когда в комнату вошёл Поль. — Недаром, значит, я увлекался интригами, — мне в конце концов повезло,

удалось даже в Париже натолкнуться на приключение, связанное с немалыми трудностями и серьёзными опасностями. Ах, черт! сколько смелости придаёт женщине опасность! Женщина, которую стесняют и держат в неволе, не сочтёт ли себя вправе и не найдёт ли в себе смелость одним махом преодолеть все препятствия, какие при других обстоятельствах она не осилила бы и за несколько лет? Гоп-ля, моя милочка! Смерть? Ах ты, глупышка! Кинжалы? Игра женского воображения! Женщины всегда склонны придавать огромную важность своим милым забавам. Впрочем, мы ещё подумаем об этом. Да, Пакита, дорогая девочка, мы ещё подумаем! Черт меня побери, теперь, когда я уверен, что это чудо природы, эта красавица будет моей, приключение теряет для меня свою остроту».

Как ни настраивался Анри на небрежный лад, он не мог заглушить в себе пробуждение юных чувств. Чтобы сократить для себя нетерпеливое ожидание завтрашнего дня, он предался неумеренным удовольствиям, он играл в карты, он пообедал, поужинал с друзьями, он напился, как извозчик, наелся, как немец-колбасник, и выиграл десять — двенадцать тысяч франков. В два часа ночи он вышел из «Роше-де-Канкаль», спал как младенец, проснулся наутро свежий, румяный, встал, оделся для прогулки в Тюильри, с тем чтобы повидаться с Пакитой, а после проехаться верхом, нагулять аппетит, со вкусом пообедать и таким образом убить время.

Вечером в назначенный час Анри был на бульваре, нашёл там карету и сказал пароль какому-то человеку — как ему показалось, давешнему мулату. Слуга тотчас же открыл дверцу и откинул подножку. Лошади мчались с такой быстротой и Марсе так был углублён в свои мысли, что он не заметил улиц, по которым проезжал, и не узнал места, где остановилась карета. Следуя за мулатом, он вошёл в дверь рядом с воротами. Лестница была тёмной, так же как и площадка, на которой Анри вынужден был подождать, пока мулат не ввёл его в сырую, отвратительную, тёмную квартиру, которую еле освещала свеча, взятая его проводником в прихожей; комнаты показались ему почти пустыми и плохо меблированными, как если бы их хозяева отправились путешествовать. Он испытал то же самое чувство, что и при чтении одного из романов Анны Радклиф, где герой проходит по холодным, мрачным нежилым залам какого-то унылого и пустынного жилища. Наконец мулат распахнул перед ним дверь гостиной. Ветхая мебель и вылинявшие драпировки придавали комнате вид какого-то притона. Тут чувствовалась та же претензия на изящество и то же сочетание дурного вкуса, грязи и пыли.

У едва дымившегося камина, где под пеплом тлели угли, на диване, обитом красным трипом, сидела плохо одетая старуха с накрученным на голове тюрбаном, вроде тех, которые измышляются пожилыми англичанками и могли бы иметь огромный успех в Китае, где чудовищность почитается идеалом прекрасного в искусстве. Гостиная, старуха, потухший камин — все способно было заморозить любовь, если бы не Пакита, лежавшая на кушетке в соблазнительном пеньюаре, без стеснения бросая взгляды своих золотых, пламенных очей, без стеснения показывая свою красиво выгнутую ножку, сверкая своим лучезарным телом. Это первое свидание было похоже на все первые встречи людей, охваченных страстью, которые, быстро преодолев разделяющее их расстояние, жаждут отдаться друг другу, но друг друга ещё не знают. При таком положении сначала неизбежно чувствуется какая-то принуждённость, неловкость до тех пор, пока души не обретут общий язык. Если желание придаёт смелость мужчине и побуждает его преодолевать все препятствия, то как ни влюблена женщина, все же она, в силу своей женской природы, страшится перейти границу и отдаться мужчине, ибо для большинства женщин это — то же, что броситься в бездну, таящую в себе нечто неведомое. В таких случаях невольная холодность женщины, противореча выказанной ею страсти, неизбежно воздействует и на самого безумного любовника. Все эти настроения, нередко затуманивающие душу, вызывают в ней своеобразное мимолётное заболевание. В блаженном странствии, совершаемом двумя существами по восхитительной стране любви, эта минута представляется как бы бесплодной степью, лежащей на их пути, степью без единого зеленого листочка, то пронизанной сыростью, то пылающей жаром, покрытой раскалёнными песками, пересечённой болотами и

ведущей к смеющимся розовым кушам, под которыми на ярко-зелёных коврах находит себе приют любовь и её спутники — наслаждения. Нередко в подобных случаях остроумный человек теряет всякое остроумие и на все отвечает дурацким смехом, ибо холодная стеснённость, охватывающая сердце, передаётся и уму. Бывает так, что существа, одинаково прекрасные, умные и страстные, твердят сначала самые банальные фразы, пока случайно брошенное слово, трепетный взгляд, внезапно пробежавшая между ними искра не толкнёт их на цветущую тропу, по которой уже не идут, а скользят, хотя ещё и не свергаются в бездну. Такое душевное состояние всегда зависит от силы чувств. Тому, кто не знает сильной любви, никогда не испытать ничего подобного. Это состояние душевного кризиса можно сравнить лишь с видом пламенеющего чистого неба. С первого взгляда чудится, что вся природа покрыта какой-то прозрачной дымкой, небесная лазурь кажется чёрной, а ослепительный свет воспринимается как мрак. Неистовство страсти в равной мере захватило Анри и испанку, и физический закон, гласящий, что две равные силы при столкновении взаимно уничтожаются, оказался верным и в мире духовном. К тому же напряжённость минуты странным образом обострялась присутствием старой мумии. Всего пугается и всему радуется любовь, для неё все полно тайного смысла, все становится предзнаменованием, счастливым или страшным. Дряхлая старуха являла здесь собой как бы возможную развязку, подобно отвратительному рыбьему хвосту, каким греческая символика наделила химер и сирен, манящих своим обольстительным станом, как манит и страсть при своём зарождении. Хотя Анри и был не то что вольнодумец — это звучит обычно насмешкой, — но человек могучей воли, человек сильный духом, насколько это возможно для неверующего, — однако все, что предстало перед его взорами, глубоко его поразило. К тому же чем сильнее люди, тем, естественно, они впечатлительней, а следовательно, и суеверней, если только можно назвать суеверием первое невольное предубеждение, которое, бесспорно, основывается на каких-то доводах, лишь скрытых от обыкновенных глаз.

Испанка воспользовалась этой минутой оцепенения, чтобы предаться восторгу беспредельного обожания, которое овладевает сердцем женщины, если она истинно любит и находится в присутствии кумира своих трепетных грёз. Глаза её были сама радость, само счастье, они сверкали. Она была зачарована и безбоязненно упивалась своей мечтой, претворённой наконец в жизнь. Сама она показалась Анри столь дивно-прекрасной, что вся эта фантазмагория отрепьев, ветоши, изодранных красных драпировок, зелёных соломенных ковриков перед креслами, этот плохо натёртый красный плиточный пол, вся эта убогая и жалкая роскошь исчезли в мгновение ока. И яркий свет озарил для юноши гостиную, и как в тумане видел он страшную гарпию, безмолвно застывшую на своей красной кушетке, жёлтые глаза старухи выдавали рабские чувства — следствие несчастий или порождение порока, который поработывает человека, как тиран поработывает своим жестоким бичом. Глаза у старухи светились холодным блеском, как у тигра в клетке, который ощущает своё бессилие и не может утолить свою жажду крови.

— Кто эта женщина? — спросил Анри Пакиту.

Но Пакита ничего не ответила. Она знаком показала Анри, что не понимает по-французски, и спросила, не говорит ли он по-английски. Де Марсе повторил вопрос по-английски.

— Это — единственная женщина, которой я могу довериться, хотя она меня уже продала однажды, — сказала спокойно Пакита — Дорогой мой Адольф, она — моя мать, рабыня, купленная в Грузии за свою редкую красоту, от которой, впрочем, ничего не осталось. Она говорит только на своём родном языке.

Поза старухи и внимание, с каким она приглядывалась к Анри и к своей дочери, стараясь догадаться, что между ними происходит, сразу стали понятны молодому человеку и больше не угнетали его.

— Пакита, что же, мы так и не будем предоставлены самим себе? — спросил он.

— Никогда! — сказала она грустно. — И, что ещё хуже, в нашем распоряжении совсем мало времени.



Она опустила глаза, посмотрела на свою руку и правой рукой стала считать по пальцам левой, показывая Анри самые красивые руки, какие он когда-либо видел.

— Один, два, три...

Она сосчитала до двенадцати.

— Да, — подтвердила она, — в нашем распоряжении двенадцать дней.

— Ну, а потом?

— Потом... — прошептала Пакита, словно заворожённая одной мыслью, подобно слабой женщине под занесённым над ней топором палача, подавленная чувством страха перед будущим, лишённая той чудесной силы, которой её наградила природа, казалось бы, для того, чтобы она всегда возбуждала желания и претворяла в бесконечную поэму самые грубые наслаждения.

— Потом... — повторила она.

Глаза её уставились в одну точку — казалось, она созерцает что-то далёкое и грозное.

— Не знаю, — сказала она.

«Это безумная», — решил Анри, сам предаваясь странным мыслям.

Пакита показалась ему поглощённой чем-то, что не относилось к нему, как будто в ней боролись угрызения совести и страсть. Быть может, в сердце её была не изжита другая любовь, которая то вдруг вспыхивала, то вновь угасала. На мгновение тысячи противоречивых мыслей захватили Анри. Девушка стала для него загадкой; но, изучая её опытным взглядом пресыщенного человека, жадного до неизведанных наслаждений, как тот восточный владыка, который требовал, чтобы ему изобрели какое-нибудь наслаждение, — ужасная жажда, изнуряющая сильные души! — Анри видел в Паките самую богатую натуру, когда-либо сотворённую для любви. Возможности, заключённые в этом теле, не говоря о душе, смутили бы всякого другого, но только не де Марсе; он был очарован предстоящей обильной жатвой заманчивых радостей, неисчерпаемого разнообразия в блаженстве — этой мечтой каждого мужчины, а также пределом стремлений каждой любящей женщины. Его сводила с ума эта бесконечность, ставшая ощутимой, проявляющаяся в наслаждениях смертных существ.

Все это увидел он теперь в Златоокой девушке яснее, чем когда-либо, — так охотно позволяла она ему любоваться собой, счастливая тем, что ею восхищаются. Восторг де Марсе вылился в какое-то тайное иступление, и он обнаружил его, бросив на испанку взгляд, который та поняла, словно привыкла к подобным взглядам.

— Если ты не будешь моей, только моей, я убью тебя! — крикнул де Марсе.

Услышав эти слова, Пакита закрыла лицо руками и простодушно воскликнула:

— Святая Дева, что я наделала!

Она поднялась, бросилась на красную кушетку, зарылась головой в лохмотья, прикрывавшие грудь её матери, и зарыдала. Старуха приняла дочь в объятия, не нарушая своей неподвижности, не выразив ни малейшего сочувствия. Матери в высшей степени было присуще то величавое спокойствие диких народов, та способность казаться бесстрастным, как изваяние, перед которой бессилён и самый наблюдательный человек. Любила она или не любила свою дочь — кто знает? Под этой маской таились все человеческие чувства, хорошие и дурные, и всего можно было ждать от этого существа. Она медленно переводила взгляд с великолепных волос, словно плащом закрывавших её дочь, на Анри, которого старуха рассматривала с невыразимым любопытством. Словно удивлённая его появлением здесь, она, казалось, спрашивала себя, не колдовство ли это, не могла понять, какой прихотью природы был создан такой оболстительный юноша.

«Обе женщины издеваются надо мной», — подумал Анри.

В эту минуту Пакита подняла голову, бросив на него такой взгляд, который проникает до глубины души и опалает её. Она показалась ему столь прекрасной, что он поклялся себе овладеть этим сокровищем красоты.

— Будь моей, Пакита!

— Ты меня убьёшь! — вымолвила она, охваченная страхом, трепещущая, но влекомая

к нему непонятной силой.

— Убить тебя? Что ты! — сказал он улыбаясь.

Пакита вскрикнула в ужасе, сказала что-то матери, которая, властно взяв руку Анри, затем дочери, долго разглядывала эти руки и наконец отпустила их, зловеще покачав головой.

— Будь моей сейчас, сию минуту, следуй за мной, не покидай меня, я хочу этого, Пакита! Любишь ли ты меня? Приди ко мне!

В одно мгновение он наговорил ей тысячу безумных слов со стремительностью потока, что, свергаясь со скал, на тысячи ладов повторяет один и тот же звук.

— Тот же голос! — печально, совсем тихо прошептала Пакита, так что де Марсе не мог её услышать. — И... тот же пыл, — прибавила она. — Пусть будет так, — уже громко произнесла Пакита с такой страстной беззаветностью, которую невозможно передать. — Я буду твоей, но только не сегодня вечером Сегодня я слишком мало дала опиума Конче, она может проснуться, и тогда я погибла. В эту минуту все в доме думают, что я сплю у себя в спальне. Через два дня приходи на то же самое место, скажи то же самое слово тому же самому человеку. Человек этот — муж моей кормилицы; Кристемиио меня обожает, он в муках умрёт за меня, но не выдаст меня ни единым словом. Прощай, — сказала она Анри, обвиваясь змеёй вокруг его тела.

Она сжала его в своих объятиях, положила голову к нему на плечо, подставила ему губы и сорвала с его уст поцелуй, от которого у обоих закружилась голова, — де Марсе показалось, что земля разверзается у него под ногами, а Пакита крикнула: «Уходи!» — голосом, который ясно показывал, как мало она владела собой. Но она не разжимала своих объятий и, продолжая повторять «Уходи!» — медленно вела его к лестнице.

Там мулат, белые глаза которого загорелись при виде Пакиты, взял светильник из рук своего кумира и вывел Анри на улицу. Он оставил светильник под навесом, открыл дверцу кареты, усадил Анри и со сказочной быстротой доставил его на Итальянский бульвар. Лошади мчались так, словно в них вселился дьявол.

Все происшествие промелькнуло для де Марсе как дивный сон, — но такой сон, даже рассеявшись, оставляет в душе чувство сверхъестественного упоения, за которым потом человек гоняется всю остальную свою жизнь. И все это повлёк за собой один лишь поцелуй. Не бывало ещё свидания благопристойнее, непорочнее, даже, быть может, холоднее, в более неприглядной обстановке, перед лицом более страшного божества, — ибо мать Пакиты запечатлелась в воображении Анри как исчадие ада, как некое скрюченное существо, похожее на безжизненный труп, порочное и дико-жестокое, своей фантастичностью превосходящее все, что когда-либо создавали художники и поэты. А между тем ни одно свидание не обостряло так его чувств, не пробуждало таких дерзких желаний, не исторгало из его сердца такой любви, которая словно насыщала собой самый воздух вокруг него. Это было какое-то мрачное, таинственное, сладостное, нежное, скованное и вместе с тем восторженное чувство, какое-то странное сочетание безобразного и небесно-прекрасного, рая и ада — и все это пьянило де Марсе. Он перестал быть самим собой, и все же у него хватило сил, чтобы бороться с опьянением страсти. Чтобы понять его поведение при развязке этой истории, необходимо объяснить, как душа его воспарила в ту пору, когда обычно молодые люди мельчают в общении с женщинами и в бесконечных мечтах о них. Он окреп духом благодаря тайным обстоятельствам, наделившим его безмерной и не ведомой никому властью. В руке у этого юноши был скипетр, более могущественный, чем скипетр современных королей, которые обычно ограничены законом в малейших проявлениях своей воли. Де Марсе пользовался самодержавной властью восточного деспота. Но эта власть, столь глупо проявляемая тупыми азиатскими царьками, была вдвое усилена благодаря европейскому развитию и французскому уму, самому гибкому и самому острому оружию в умственном арсенале человечества. У Анри были неограниченные возможности удовлетворять свою жажду наслаждений и почестей. Сила такого незримого воздействия на общество облекла его подлинным, хотя и тайным, величием, не нуждающимся в показной

пышности и сосредоточенным в нем самом. Он смотрел на себя не так, как мог на себя смотреть Людовик XIV, но как смотрели на себя самые гордые из калифов, фараонов, Ксерксов, которые верили в своё божественное происхождение и, подобно божеству, скрывали лик свой от подданных, дабы не поразить их насмерть своим взором. И вот, выступая судьёй и обвинителем в своих столкновениях с людьми, де Марсе спокойно выносил смертный приговор мужчине или женщине, если они его оскорбили. Хотя нередко приговор этот произносился в легкомысленно-игривой форме, однако всегда он оказывался непреложным. Проступок становился несчастьем, подобным тому, какое причиняет молния, поразив насмерть молодую, счастливую парижанку, спешившую на свидание в карете, а не старика кучера на козлах. Понятно, что глубокая и горькая ирония, свойственная речам этого молодого человека, почти на всех наводила ужас и каждый боялся его задеть. Женщины необычайно любят таких мужчин, этих владык собственной милостью, как бы шествующих в окружении львов и палачей, вселяя повсеместно трепет. Сознание своей силы придаёт им спокойную уверенность во всех своих действиях и львиную гордость — все, что воплощает для женщин тот тип сильного мужчины, о котором они мечтают. Таков был де Марсе.

В этот день он, счастливый сознанием своего близкого блаженства, вновь превратился в непосредственного и податливого юношу и, ложась спать, думал только о любви. Ночью он видел сны, какие видят страстные молодые люди; ему снилась Златоокая девушка. То были какие-то фантастические видения, неуловимые странные образы, пронизанные ярким светом, в которых угадываются целые незримые миры, но только смутно: перед ними как бы колеблется некая завеса. Следующие два дня Анри скрывался, и никто не мог его найти. Он пользовался своей властью только на известных условиях, и, к счастью для него, в эти дни он был простым солдатом на службе тому демону, от которого зависела таинственная сторона его жизни.

Но в назначенный час, вечером, он высматривал на бульваре карету, которая не заставила себя ждать. Мулат подошёл к Анри и обратился к нему с французской фразой, как видно, заученной им наизусть:

— Она сказала, если вы хотите её повидать, дайте завязать себе глаза.

И Кристемиио показал белый шёлковый платок.

— Нет! — произнёс Анри, властная душа которого вдруг возмутилась.

И он занёс уже ногу на ступеньку кареты. Но мулат подал знак, и карета отъехала.

— Хорошо! — закричал де Марсе, приходя в неистовство при мысли, что потеряет обещанное ему наслаждение.

К тому же он понимал невозможность каких-либо переговоров с рабом, который слепо, как палач, исполнял приказания. И разве на это пассивное орудие должен обрушиться его гнев?

Мулат свистнул, карета повернула обратно. Анри стремительно бросился в неё. И пора было: несколько зевак уже толпились на бульваре. Анри был силён и хотел перехитрить мулата. Когда лошади побежали крупной рысью, он схватил мулата за руки, чтобы, одолев и укротив своего надсмотрщика, развязать себе глаза и проследить, куда его везут. Напрасная попытка! Глаза мулата загорелись во мраке. Испуская крики сдавленным от ярости голосом, он вырвался и железной рукой отбросил де Марсе, словно пригвоздив его к углу кареты; затем другой, свободной рукой он вытащил трехгранный кинжал и свистнул. Услышав свист, кучер остановился. Анри был безоружен, он вынужден был покориться и сам подставил голову, чтобы ему завязали глаза. Это выражение покорности успокоило Кристемиио, и он завязал ему глаза почтительно и заботливо, что говорило о некоторого рода преклонении перед избранником своего божества. Но прежде чем прибегнуть к этой мере предосторожности, он недоверчиво спрятал свой кинжал во внутренний боковой карман и застегнулся до самого подбородка.

«Да, этот чудила убил бы меня не задумываясь», — подумал де Марсе.

Лошади снова помчались во весь опор. Для молодого человека, так хорошо знавшего Париж, как знал его Анри, оставался ещё один выход. Чтобы узнать, куда они едут, ему

достаточно было сосредоточиться и подсчитывать, исходя из количества попадавшихся им на пути водостоков, все улицы, которые приходилось им пересекать, пока они следовали прямо по бульварам. Таким образом, он мог бы установить, на какую боковую улицу свернёт карета, в сторону Сены или высот Монмартра, и отгадать название и положение улицы, где остановится его проводник. Но сильнейшее возбуждение, вызванное борьбой, ярость при мысли об унижительных условиях, которым он подчинился, навязчивые мысли о мести, догадки по поводу мелочной заботливости таинственной девушки обо всех обстоятельствах его приезда к ней, — все мешало ему сосредоточить, подобно слепым, особое внимание, необходимое для напряжённой, чёткой работы умственных способностей и памяти. Ехали около получаса. Карета остановилась не на мостовой. Мулат и кучер взяли Анри поперёк тела, вытащили его из кареты, положили на какие-то носилки и понесли через сад, о чем он догадался по благоуханию цветов и характерному запаху деревьев и зелени. Все было так тихо вокруг, что он различал шум капель, падавших с влажной листвы. Оба человека внесли его по лестнице, поставили на ноги, провели через длинный ряд комнат, держа за руки, и оставили его наконец в наполненных ароматом покоях, где нога тонула в пушистом ковре. Женская рука усадила его на диван и сняла с его глаз повязку. Анри увидел перед собой Пакиту, но Пакиту, окружённую блестящей роскошью, которую так любят сладострастные женщины.

Половина будуара, где находился Анри, была мягко закруглена, а противоположная часть образовывала правильный квадрат, где посередине стены блестел беломраморный золочёный камин. Анри был введён через боковую дверь, скрытую под богатой ковровой портьерой и расположенную прямо против окна. Вдоль всей подковообразной стены комнаты тянулся настоящий турецкий диван, иначе говоря, матрац, положенный прямо на пол, но матрац широкий, как кровать, — диван в пятьдесят футов длиной, покрытый белым кашемиром, украшенный чёрными и пунцовыми сборчатыми полосами, перекрещёнными под косыми углами. Спинка этого гигантского ложа возвышалась на несколько дюймов над грудой подушек, придававших ему ещё больше роскоши прелестью своих узоров.

Будуар был обтянут красной тканью, а по ней трубчатыми складками, наподобие каннелюр коринфской колонны, ниспадал индийский муслин, отделанный поверху и понизу пунцовой каймой в чёрных арабесках. Под складками муслина пунцовый цвет казался розовым, и этот цвет любви повторялся на оконных занавесах, тоже из индийского муслина, подбитых розовой тафтой и отделанных пунцово-чёрной бахромой. Шесть двухсвечных канделябров из золочёного серебра, укреплённых на стене, на равном друг от друга расстоянии, освещали диван. Потолок, с которого свешивалась люстра матового золочёного серебра, сверкало белизной, подчёркнутой золочёным карнизом. Ковёр напоминал восточную шаль, он являл взорам тот же рисунок, что и диван, и приводил на память поэзию Персии, где он был выткан руками рабов. Мебель была обита белым кашемиром с чёрной и пунцовой отделкой. Часы, канделябры — все было из белого мрамора, сверкало позолотой. Единственный стол, стоявший в этой комнате, покрыт был кашемировой скатертью. В изящных жардиньерках были розы всевозможных сортов и другие цветы — только белые и красные. Словом, все до мелочей, казалось, было предметом нежнейших забот. Никогда ещё богатству не удавалось столь кокетливо себя завуалировать красивой оболочкой, выказывать столько грации, возбуждать столько сладострастной неги. Здесь должно было воспламениться и самое холодное существо. Переливающаяся ткань обивки, цвет которой менялся в зависимости от направления взгляда, переходя от совершенно белых к совершенно розовым тонам, прекрасно сочеталась с игрой света, пронизывающего прозрачные складки муслина, создавая впечатление чего-то облачного, воздушного. К белизне душа испытывает какое-то особенное влечение, к красному цвету льнёт любовь, а золото потворствует страстям, обладая властью удовлетворять их прихоти. Так все смутные и таинственные свойства человеческой души, её необъяснимые, бесконечные изгибы находили здесь поощрение. Эта совершённая гармония создавала какое-то совсем особое созвучие красок, вызывала в душе сладострастные, неопределённые, неуловимые отклики.

И в мягкой атмосфере, насыщенной тонким благоуханием, Па-кита, с обнажёнными ногами, в белоснежном воздушном пеньюаре, с померанцевыми цветами в чёрных волосах, предстала перед Анри коленопреклонённая, склонившаяся перед ним, как перед божеством, нисшедшим в сей дивный храм. Хотя де Марсе и привык к изысканной парижской роскоши, он был изумлён видом этой чудесной раковины, подобной той, из которой вышла Венера.

Было ли то следствием резкого перехода от темноты, в которой до этого он долго пребывал, к свету, заливавшему теперь его до глубины души, или же поразительного контраста между окружающей его обстановкой и обстановкой первого их свидания, — но он испытал одно из тех тончайших ощущений, какие порождает только подлинная поэзия. Когда в дивном уголке, как бы по волшебству возникшем перед ним, он увидел этот венец творения, эту деву — тёплые тона её лица, её нежную кожу, слегка позлащённую красноватыми бликами, окутанную дымкой какого-то неведомого любовного томления, как бы сияющую отблесками всех светильников и отсветами всех красок, — его гнев, жажда мести, уязвлённое самолюбие — все исчезло. Как орёл, что камнем кидается на свою добычу, он схватил её в объятия, усадил к себе на колени и в неизъяснимом сладострастном упоении ощутил тяжесть роскошного тела, нежно прильнувшего к нему.

— Приди ко мне, Пакита! — еле слышно прошептал он.

— Говори, говори, не бойся! — сказала ему Пакита — Этот приют создан для любви. Ни один звук не вырвется отсюда наружу, все подчинено здесь одному — сохранить звуки и музыку любимого голоса. Как ни кричи здесь — никто ничего не услышит по ту сторону этих стен. Здесь можно убить кого хочешь, твоя жертва будет тщетно звать на помощь, как в бескрайней пустыне.

— Да кто же это постиг в таком совершенстве ревность и её требования?

— Никогда не спрашивай меня об этом, — ответила она, неопишимо милым движением развязывая галстук молодого человека и, вероятно, желая полюбоваться его шеей.

— Да, вот она, эта шея, которая так мне нравится... — сказала она. — Хочешь порадовать меня?

Вопрос этот, прозвучавший в её устах почти цинично, вывел де Марсе из задумчивости, в которую поверг его властный запрет Па-киты допытываться, кем было то неведомое существо, что, как тень, витало над ними.

— А если бы я захотел узнать, кто властвует здесь?

Пакита взглянула на него, вся дрожа.

— Стало быть, это не я! — сказал он, подымаясь и отталкивая от себя девушку, которая упала, запрокинув голову. — Где бы я ни был, я не терплю рядом с собой другого.

— Мне страшно, страшно!.. — вырвалось у несчастной рабыни, охваченной ужасом.

— Да за кого же ты меня принимаешь? Ответишь ты мне или нет? Вся в слезах, Пакита тихо поднялась, подошла к одному из двух шкапов чёрного дерева, стоявших в комнате, достала оттуда кинжал и протянула его Анри с покорностью, способной разжалобить даже тигра.

— Дай мне все счастье, какое только может дать мужчина, когда он любит, — сказала она, — и, когда я засну, убей меня, потому что ответить тебе я не могу. Пойми! Я здесь — как бедный зверёк на цепи, я и то удивлена, как осмелилась я перекинуть мост через пропасть, что разделяет нас. Опьяни меня ласками, а потом убей! О нет, нет! — воскликнула она, складывая руки, как на молитве. — Не убивай меня! Я люблю жизнь! Жизнь для меня так прекрасна! Пусть я рабыня, но ведь я и царица. Я могла бы обмануть тебя страстными речами — заверить, что люблю лишь тебя одного, доказать тебе мою любовь, воспользоваться своей минутной властью, чтобы сказать тебе: «Возьми меня и на мгновение упейся мною, как мимоходом упиваются ароматом цветка в королевском саду». А потом, вскружив тебе голову женскими уловками, воспарив с тобой на крыльях ввысь, утолив свою жажду наслаждений, я могла бы приказать, чтобы тебя бросили в колодец, где никто тебя никогда не найдёт, — он вырыт с той целью, чтоб можно было мстить, не страшась кары

правосудия, и наполнен гашёной известью, которая испепелила бы твоё тело. Лишь в моем сердце остался бы ты навеки.

Анри спокойно взглянул на девушку, и бесстрашный взгляд его наполнил её радостью.

— Нет, никогда я не сделаю этого! Не западня ждала тебя здесь, а женское сердце, которое тебя боготворит. Не тебя, а меня бросят в колодец.

— Право, все это необычайно забавно, — сказал де Марсе, внимательно вглядываясь в неё. — Ты, вероятно, славная, но чудная девушка: честное слово, ты какая-то живая загадка, которую не так просто разгадать.

Пакита ничего не поняла из того, что сказал ей юноша; она тихо глядела на него широко открытыми глазами, которые никогда не могли быть глупыми, столько сладострастия они выражали.

— Послушай, любовь моя, — сказала она, возвращаясь к своей первоначальной мысли, — хочешь доставить мне удовольствие?

— Я сделаю все, что ты захочешь, и даже то, чего ты не захочешь, — смеясь ответил де Марсе, который снова обрёл свою фатовскую непринуждённость и решил ловить любовную удачу, не заглядывая ни вперёд, ни назад. А кроме того, быть может, полагался он на свои силы и на свою опытность в любви, рассчитывая через несколько часов всецело покорить себе девушку и выведать у неё все её тайны.

— Так разреши мне нарядить тебя по моему вкусу, — сказала она.

— Наряжай как тебе вздумается, — отвечал Анри.

Пакита с радостной поспешностью достала из шкапа красное бархатное платье, нарядила в него де Марсе, потом надела ему на голову женский чепчик и закутала его в шаль. Невинно, как ребёнок, увлекаясь этими шалостями, она судорожно смеялась и напоминала птицу, бьющуюся крыльями о стены. Но сейчас для неё, казалось, ничто не существовало. Если нельзя изобразить все те неслыханные восторги, которым предавались эти два прекрасных существа, созданные небом в счастливый час, то, быть может, необходимо хотя бы в отвлечённой форме охарактеризовать странные, почти фантастические впечатления молодого человека. Мужчины, принадлежащие к тому же общественному кругу и ведущие такой же образ жизни, как де Марсе, прекрасно умеют распознавать невинность девушки. Но — странное дело! — если Златоокая девушка была девственна, она отнюдь не была невинна. Столь прихотливое сочетание чудесного и реального, мрака и света, ужаса и красоты, наслаждения и опасности, рая и ада, каким запечатлелось начало этого приключения, раскрылось с особенной силой в своенравном и дивном существе, лежавшем в объятиях Анри. Все ухищрения самого утончённого сладострастия, все, что раньше было знакомо Анри из той поэзии чувственности, какую именуют любовью, померкло перед сокровищами, которыми одарила его эта девушка, — искристые очи не обманули его ни в одном из своих обещаний. То была некая восточная поэма, напоённая тем же солнцем, что согревает трепетные строфы Саади и Гафиза. Только ни ритму Саади, ни ритму Пиндара не передать смятенного, изумлённого восторга чудесной девушки, когда было развеяно заблуждение, в котором её держала чья-то железная воля.

— Погибла, — воскликнула она, — я погибла! Адольф, увези меня на край света, на какой-нибудь остров, чтобы там никто, никто нас не знал. Скроемся бесследно, а то погоня настигнет нас хотя бы в самом аду... Боже мой, рассвело... Беги. Увижу ли я тебя когда-нибудь? Да, я увижу тебя завтра, если даже ради этого счастья мне нужно будет убить всех моих надсмотрщиков... До завтра!

Она прильнула к нему — и в её объятии чувствовался смертельный ужас. Потом, нажав какую-то пружину, вероятно, сообщавшуюся со звонком, она стала упрашивать де Марсе, чтобы тот дал завязать ему глаза.

— Но если я не хочу... если я хочу остаться здесь?

— Ты только ускоришь мою смерть, — сказала она, — ибо теперь я твёрдо знаю, что умру за тебя.

Анри уступил. Бывает, что мужчина, упившись наслаждением, проявляет какую-то

небрежность, неблагодарность, стремится побыть на свободе, рассеяться, испытывает как бы некоторое презрение и даже, может быть, отвращение к своему кумиру — словом, подчиняется необъяснимым чувствам, которые делают его подлым и низким. О существовании этого смутного, но совершенно реального ощущения у душ, не просветлённых небесным светом, не помазанных святыми благовониями, питающими постоянство чувств, знал, по всей вероятности, Руссо, недаром в «Новой Элоизе», в конце этого собрания писем, изобразил он приключения милорда Эдуарда. Несомненно, Руссо вдохновлялся произведениями Ричардсона, но он отошёл от них в толковании тысячи разнообразных подробностей, что и придало столь восхитительное своеобразие этому памятнику его творчества; здесь он оставил потомству в наследство великие идеи, в которых нелегко разобраться, когда читаешь его роман в юности и ищешь в нем только пламенных описаний физического чувства, тем более что серьёзные писатели и философы привлекали подобные картины исключительно в качестве наглядного примера или для подтверждения какой-нибудь значительной мысли; а между тем страницы, посвящённые приключениям милорда Эдуарда, содержат в себе одну из тех мыслей этого романа, которые отмечены удивительной, поистине европейской, утончённостью.

Итак, Анри обычно пребывал во власти тех смутных чувств, которых не знает истинная любовь. Вернуть его к какой-нибудь женщине могло только явное превосходство её над другими или неотразимая привлекательность воспоминаний.

Сила истинной любви — главным образом в памяти. Может ли быть любима женщина, образ которой не запечатлён в душе ни чрезмерностью наслаждений, ни силой страсти? Но, помимо воли Анри, Пакита такими двумя способами завладела его сердцем. Однако в эту минуту, весь охваченный блаженным изнеможением, чарами телесной меланхолии, он не в силах был разобраться в собственном сердце, ещё сохраняя на устах ощущение самых сладострастных радостей, какие когда-либо испытывал. Ранним утром он опять оказался на Монмартрском бульваре, бессмысленным взором проводил удалявшуюся карету, вытащил из кармана две сигары и прикурил одну из них от фонаря торговки, продававшей водку и кофе мастеровым, огородникам, мальчишкам, всему парижскому рабочему люду, который встаёт до зари; засунув руки в карманы, держа сигару в зубах, Анри зашагал с беспечностью, поистине не делающей ему чести.

«Славная штука — сигара! Вот что никогда не надоест человеку», — мысленно изрёк он.

Он почти и думать забыл о Златоокой девушке, которая в те годы сводила с ума блестящую молодёжь Парижа. Мысль о смерти, поверенная ему среди наслаждений и не раз омрачавшая чело этого прекрасного создания, которое было сродни гуриям Азии по крови, Европе — по воспитанию, тропикам — по месту рождения, представлялась ему одной из тех уловок, к каким прибегают женщины, стараясь сильнее заинтересовать мужчину.

— Она из Гаваны, из самой испанской страны в Новом Свете; потому-то она и предпочла разыграть ужас, а не докучать мне страданиями, трудностями, кокетством, чувством долга, как сделала бы парижанка. Клянусь златыми её очами, я здорово хочу спать!

Увидев наёмный кабриолет, стоявший на углу у Фраскати в ожидании каких-нибудь игроков, он разбудил кучера и велел отвезти себя домой. Там заснул он сном шалопаев, который по странной случайности, не замеченной ещё ни одним песенником, столь же крепок, как сон невинности. Возможно, это лишь проявление той аксиомы, что крайности сходятся.

Около полудня де Марсе проснулся и, потягиваясь в постели, почувствовал приступ волчьего голода, одолевающего каждого наутро после победы, как это могут подтвердить все бывалые солдаты. Не без удовольствия он увидел перед собой Поля де Манервиля, ибо при таких обстоятельствах нет ничего приятнее завтрака в компании.

— Ну, — сказал ему друг, — мы все воображали, как ты провёл эти десять дней взаперти с Златоокой девушкой.

— Златоокая девушка! да я и думать о ней перестал. Право же, и без неё найдётся чем

забить себе голову.

— Ага! ты скрытничаеть.

— Ну, а если и так? — смеясь заявил де Марсе. — Мой милый, скрытность — самая тонкая уловка Послушай... Но нет, я не скажу тебе ни слова. Ты сам никогда ничему меня не научишь, — так и я не желаю зря расточать сокровища моего политического искусства. Жизнь — река, способствующая взаимной торговле. Клянусь высшей святыней на земле, клянусь сигарой, я не профессор политической экономии, приспособленной к пониманию глупцов. Давай-ка лучше позавтракаем! Дешевле будет угостить тебя тунцом в омлете, чем предоставить тебе свой собственный мозг.

— А, ты ведёшь счёты с друзьями?

— Дорогой мой, — сказал Анри, редко упускавший случай поиронизировать, — ввиду того, что тебе, как и всякому другому, может когда-нибудь понадобится скрытность, а я тебя очень люблю... Да, я люблю тебя! Честное слово, если ты задумаешь пустить себе пулю в лоб и тебя можно будет спасти тысячефранковым билетом, ты найдёшь его у меня, — ведь как будто, Поль, земли твои ещё не заложены?.. Если тебе надо будет драться завтра, я сам отмерю шаги между тобой и противником и заряджу пистолеты, чтобы ты был у меня убит по всем правилам. Наконец, если бы кто-нибудь, кроме меня самого, осмелился плохо отозваться о тебе в твоё отсутствие, ему пришлось бы иметь дело с опасным джентльменом, какой сидит в моей шкуре, — вот что я называю истинной дружбой. Итак, мой мальчик, ввиду того, что тебе может понадобится скрытность, знай, что существуют два вида скрытности: скрытность косвенная и скрытность прямая. Скрытность прямая — скрытность дураков, которая сводится к молчанию, отрицанию, нахмуренному виду, запертым дверям, а по существу — к полной беспомощности. Косвенная скрытность не боится и прямого подтверждения факта. Предположим, нынче вечером я заявил бы в клубе: «Честное слово, Златоокая девушка не оправдала моих затрат», все бы стали кричать после моего ухода: «Слышали вы похвальбу этого фата де Марсе, будто он обладал Златоокой девушкой? Это он хочет таким способом избавиться от соперников! Что и говорить, хитрая bestия». Но эта уловка вульгарна и рискованна. Как бы ни было несообразно какое-либо наше признание, всегда найдётся несколько глупцов, готовых поверить ему. Самый лучший вид скрытности — тот, каким пользуются ловкие женщины, чтобы отвести глаза своим мужьям. Способ этот состоит в том, чтобы любовник опорочил женщину, которой он не дорожит, или которую не любит, или даже никогда не обладал, — и тем сохранил честь той, которую он достаточно любит для того, чтобы уважать. Это я называю прибегнуть к женщине — ширме. Ага, вот и Лоран! Что ты нам несёшь?

— Остендские устрицы, граф.

— Ты когда-нибудь поймёшь, Поль, до чего забавно дурачить свет, скрывая от него наши тайные привязанности. Я испытываю огромное удовольствие быть недостижимым для суждений светской толпы, которая никогда не знает, чего она хочет, чего должна хотеть, средство принимает за цель, цель за средство и попеременно то боготворит, то прокликает, то возносит, то ниспровергает кумиры. Что за счастье возбуждать её волнения и не испытывать их самому, покорять её себе и никогда самому не подчиняться. Если можно чем-либо гордиться, так только властью, завоёванной нами самими, такой властью, когда в твоих руках находятся одновременно и причина её, и следствие, и основы, и результаты. Так вот, ни один человек не знает, кого я люблю, чего я хочу. Быть может, когда-нибудь и узнают, кого я любил, чего добивался, как узнают завершённые драмы, но позволить заглядывать кому-либо в мои карты?.., что за слабость, что за наивность! Я не знаю ничего презреннее силы, которую можно обойти хитростью. Я играючи обучусь ремеслу посланника, если дипломатия так же сложна, как жизнь! Думаю, впрочем, что жизнь — сложнее. Честолюбив ли ты? Желаеть ли ты чего-нибудь добиться?

— Но ты издеваешься надо мною, Анри, как будто я не представляю собой самую посредственную натуру, а следовательно — могу всего добиться.

— Превосходно, Поль! Если ты будешь продолжать издеваться над самим собой, ты



скоро научишься издеваться над целым светом.

За завтраком, когда закурили сигары, события прошлой ночи стали представляться де Марсе в совершенно особенном свете. Как у многих великих умов, его пронизательность проявлялась не сразу, он медленно постигал сущность вещей. Как всем натурам, обладающим способностью жить главным образом настоящим, так сказать, вбирать и поглощать все его соки, его ясновидение нуждалось в своеобразной дремоте для познания связи причин и следствий. Таков был кардинал Ришелье, что не лишало его дара предвидения, необходимого для великих замыслов. Де Марсе прошёл через этот этап, но сначала он прибегал к своему оружию лишь в погоне за удовольствиями, и одним из искуснейших политиков своего времени он стал тогда, когда насытился всеми наслаждениями, о каких прежде всего помышляет юноша, обладающий золотом и властью. Мужчина закаляется, подчиняя женщину своей воле, но сам не подчиняясь воле женщины. И вот сейчас, одним взглядом охватив всю минувшую ночь, когда наслаждения сначала лишь тихо струились, постепенно разрастаясь в бурные потоки, де Марсе решил, что Златоокая девушка им только играла. Он обрёл теперь способность прочесть эту действительно блестящую страницу любви, разгадать её тайный смысл. Чисто физическая непорочность Пакиты, её радостное изумление, некоторые восклицания в минуты восторга, сначала ему непонятные, но теперь совершенно ясные, — все доказывало ему, что он замещал кого-то другого. Ему были знакомы все виды разврата, и он спокойно взирал на любые извращения, оправдывая их, раз они могут быть удовлетворены, — поэтому его не возмутил бы порок, ибо он знал его, как знает друга, но он был оскорблён тем, что послужил ему лишь пищей. Он почувствовал бы себя оскорблённым до глубины души, если бы убедился в верности своих предположений. Одно только подозрение уже привело его в ярость, — он зарычал, как тигр, над которым посмеялась газель, как тигр, в котором звериная сила сочеталась с дьявольской пронизательностью.

— Что с тобой? — спросил его Поль.

— Ничего!

— Ну, не хотелось бы мне услышать от тебя подобное «ничего» в ответ на вопрос: «Что ты имеешь против меня?» — нам тогда, безусловно, пришлось бы драться на другой же день.

— Я больше не дерусь, — ответил де Марсе.

— Это совсем уже трагично. Что же ты, убиваешь?

— Ты извращаешь понятия. Я казню.

— Милый друг, — сказал Поль, — ты слишком мрачно сегодня шутишь.

— Ничего не поделаешь! От вожделения до ярости один шаг. Почему? Я не знаю, и я не настолько любопытен, чтобы искать объяснения... А сигары эти превосходны. — Налей своему приятелю чаю! — Знаешь ли ты, Поль, что я живу как скотина? Пора наконец подумать о будущем, употребить свои силы на что-нибудь такое, ради чего стоило бы жить. Жизнь — престранная комедия. Меня страшит и смешит непоследовательность наших общественных порядков. Правительство рубит голову бедняге, убившему одного человека, и узаконивает существование тварей, которые в самом прямом, медицинском смысле ежегодно отправляют на тот свет десятки молодых людей. Мораль бессильна против доброй дюжины пороков, разъедающих общество и остающихся ненаказанными. Не хочешь ли ещё чашечку чая? Честное слово, человек — шут, который пляшет на краю пропасти. Нам твердят о безнравственности «Опасных связей» и ещё какой-то книги, написанной от имени горничной; но существует книга омерзительная, грязная, страшная, развращающая — книга, которая всегда открыта и никогда не закрывается, великая книга света, не говоря уже о другой, в тысячу раз более опасной, состоящей из того, что говорится на ухо между мужчинами или, под прикрытием веера, между женщинами на балу.

— Анри, право же, с тобой творится что-то неладное, это яснее ясного, несмотря на твою косвенную скрытность.

— Послушай, мне надо убить время до вечера. Пойдём играть... Вдруг мне повезёт, и я проиграюсь!

Де Марсе поднялся, взял горсть банковых билетов, засунул их в портсигар, оделся и, воспользовавшись экипажем Поля, отправился в «Салон иностранцев», где убил до обеда время, увлечшись превратностями азартной игры, сменой выигрышей и проигрышей, — последним прибежищем сильных натур, обречённых на бездеятельность. Вечером он явился на условленное место и покорно позволил завязать себе глаза. Затем огромным усилием воли, доступным лишь подлинно сильным людям, он сосредоточил все своё внимание и сообразительность на том, как опознать улицы, по которым проезжала карета. Он был почти уверен, что его везли по улице Сен-Лазар и остановились у садовой калитки особняка Сан-Реаль. Когда он, как и в первый раз, прошёл через калитку и был положен на носилки, которые, по всей вероятности, понесли мулат и кучер, он понял, зачем соблюдались все эти тщательные предосторожности, услышав, как у них под ногами скрипел песок. Если бы ему предоставили свободу, допустили пройти по саду, он мог бы сорвать ветку с куста, рассмотреть песок, приставший к его сапогам, — между тем, доставленный в недоступный ему особняк, так сказать, по воздуху, он должен был воспринимать свою любовную удачу только как мечту, что и было пока на деле. Но, на своё горе, человек не достигает совершенства ни в добрых, ни в злых делах. Все, созданное его руками и умом, подвержено разрушению. Прошёл дождик, и земля не успела просохнуть. Ночью многие цветочные запахи значительно сильнее, чем днём, — и Анри почувствовал аромат резеды, когда его несли по аллее. Эта примета должна была облегчить задуманные им поиски особняка, где находился будуар Пакиты. Он даже старался запомнить все повороты своих носильщиков внутри дома и надеялся, что это ему удастся. Как и накануне, он очутился на оттоманке, перед Пакитой, которая сняла с него повязку, — девушка была бледна, лицо её осунулось, глаза были заплаканы. Коленопреклонённая, словно молящийся ангел — но ангел печальный и полный глубокой меланхолии, — бедняжка уже не походила на то любопытное, нетерпеливое, подвижное создание, которое на своих крыльях увлекло де Марсе ввысь, на седьмое небо любовных радостей. В этом отчаянии, лишь слегка смягчённом жаждой наслаждения, чувствовалось нечто до такой степени правдивое, что грозный де Марсе ощутил в глубине души лишь восхищение перед этим новым обликом совершённого творения природы и мгновенно забыл главную цель этого свидания.

— Что случилось, моя Пакита?

— Друг мой, — сказала она, — увези меня отсюда сегодня же ночью. Спрячь меня подальше, где никто при виде меня не мог бы сказать: «Вот Пакита», где на расспросы никто не мог бы ответить: «Я видел девушку с золотистыми глазами и длинными волосами». Там я подарю тебе столько наслаждений, сколько ты сам пожелаешь. А когда ты разлюбишь меня и бросишь, ты не услышишь от меня ни единой жалобы, я не скажу ни слова; и пусть тогда моя судьба не смущает твоего покоя, ибо день, один только день, проведённый около тебя, в созерцании твоего лица, будет дороже мне всей моей жизни. Но если я здесь останусь, я погибла.

— Я не могу покинуть Париж, малютка, — ответил Анри. — Я не принадлежу самому себе, я связан клятвой с судьбой нескольких человек, которым я подчинён, как они подчинены мне. Но я могу создать тебе в Париже убежище, куда не проникнет ни одна живая душа.

— Нет, — возразила она, — ты забываешь власть женщины. Никогда ещё человеческая речь с большей силой не выражала беспредельного ужаса.

— Кто же смеет коснуться тебя, если я огражу тебя от всего мира?

— Яд! — ответила Пакита. — Донья Конча уже подозревает тебя. И потом, — продолжала она, роняя слезы, которые сверкали на её щеках, — нетрудно заметить, что теперь я уже не та. Ну что же, если ты обрекаешь меня ярости чудовища, которое растерзает меня, да свершится твоя святая воля! Но приди в мои объятия, дай вкусить все упоение жизнью в нашей любви. А настанет страшный час, я буду умолять, рыдать, кричать, защищаться и, быть может, ещё спасу себя.

— Кого же ты будешь молить? — спросил он.

— Молчи! — приказала Пакита. — Если меня простят, то только ради моей скрытности.

— Дай мне моё платье, — коварно попросил Анри.

— Нет, нет, — с живостью возразила она, — оставайся тем, что ты есть, одним из тех ангелов, которых меня учили ненавидеть, в которых я видела только чудовищ, тогда как прекраснее вас нет ничего под небом, — говорила она, лаская волосы Анри. — Ты и не представляешь себе, до чего я была глупа. Меня ничему не учили. С двенадцати лет я живу взаперти и никого не видала. Я не умею ни читать, ни писать, я говорю только по-английски и по-испански.

— Как же ты получаешь письма из Лондона?

— Ах, письма!.. Вот, посмотри! — сказала она, вынимая какие-то бумаги из высокой японской вазы.

Она протянула молодому человеку письма, и он был поражён, увидев причудливые фигурки, начерченные кровью и означавшие, наподобие ребуса, целые фразы, преисполненные страсти.

— Однако, — воскликнул он, с восхищением рассматривая эти иероглифы, созданные изобретательной ревностью, — ты во власти какого-то гения ада?

— Да, ада! — повторила она.

— Как же ты выходила на улицу?

— Ах! — вздохнула она. — Это меня и погубило. Я заставила донью Кончу сделать выбор между немедленной смертью и наказанием, которое грозит ей лишь в будущем. Мной овладело дьявольское любопытство, я захотела разбить железную преграду, отделявшую меня от всего живого, узнать, что представляют собой молодые люди, ибо из мужчин я знала только маркиза и Кристемио. Наш кучер и лакей, который сопровождает нас, — старики...

— Но не всегда же ты была взаперти? Здоровье требует...

— Ах, мы гуляли, — объяснила она, — но только ночью, за городом, на берегу Сены, вдали от всех.

— И ты не гордишься такой любовью?

— Нет, — ответила она, — теперь нет! Как ни богата была эта окутанная тайной жизнь, она лишь мрак по сравнению с солнечным светом.

— Что называешь ты солнечным светом?

— Тебя, мой прекрасный Адольф! Тебя, за которого я готова отдать жизнь. Все страстные чувства, о каких мне говорили, какие я возбуждала, теперь ты возбуждаешь во мне. Порой я ничего не могла понять; но теперь я постигла любовь, — а ведь до сих пор любили только меня, сама же я не знала любви. Я все брошу ради тебя, увези меня отсюда. Хочешь, я буду твоей игрушкой, но только держи меня при себе, пока не сломаешь.

— А ты не пожалеешь потом?

— Никогда! — сказала она, давая ему читать в глазах своих, золотой огонь которых оставался чистым и ясным.

«Значит, меня предпочли? — подумал Анри, подозревавший истину, но склонный в эту минуту простить оскорбление во имя столь наивной любви. — Посмотрим», — решил он.

Пусть Пакита не обязана была давать ему отчёт в своём прошлом, малейшее воспоминание о нем становилось преступлением в его глазах. Он обладал печальной способностью затаить свою мысль, судить, изучать свою любовницу во время самых упоительных наслаждений, какие только могла бы изобрести пери, сошедшая с небес к своему возлюбленному. Пакита, казалось, с особенной заботливостью была создана природой для любви. После первой ночи её женское существо обнаружилось во всем своём блеске. Как ни велики были самообладание юноши и небрежность к радостям любви, однако, несмотря на пресыщение ласками минувшей ночи, он нашёл в Златоокой девушке тот сераль, какой способна создать любящая женщина и от какого никогда не откажется ни один мужчина. Пакита утоляла страсть, скупающую всех истинно великих людей, таинственную страсть к бесконечному, столь драматично выраженную в «Фаусте», столь поэтично

переданную в «Манфре-де» и побуждавшую Дон Жуана заглядывать в женские сердца в надежде увидеть беспредельность, на поиски которой устремляется столько охотников за призраками и которую учёные ищут в науке, а мистики могут узреть в Боге. Надежда обрести наконец идеальное существо, чтобы вступить с ним в единоборство без пресыщения и утомления, восхитила де Марсе, и он, впервые за долгий срок, открыл своё сердце. Всегда напряжённые нервы его ослабели, холодность растаяла в атмосфере этой пламенной души, и счастье окрасило его жизнь в белые и розовые цвета — цвета будуара Пакиты.

Волнуемый величайшим возбуждением, он был увлечён за пределы, которых до сих пор не переходила его страсть. Он не желал дать превзойти себя этой девушке, заранее взлелеянной для потребностей его сердца некоей искусственной любовью, и самолюбие мужчины, побуждающее его все себе покорять, дало Анри силы, чтобы подчинить себе Златооую; но, переступив черту, за которой душа уже не властна над собой, он заблудился в том пленительном преддверии рая, которое обычно так нелепо называют воображаемыми пространствами. Он показал себя нежным, добрым, общительным. Он довёл Пакиту почти до безумия.

— Почему бы нам не отправиться в Сорренто, в Ниццу, в Кья-вари и не прожить там всю жизнь? Хочешь? — спросил он Пакиту голосом, проникающим в самую душу.

— Да разве надо тебе спрашивать, хочу ли я? — воскликнула она — Разве есть у меня воля? Без тебя я — ничто, я существую лишь для того, чтобы усладить тебя. Если хочешь избрать приют, достойный нас, поедем в Азию, единственный край, где любовь может расправить крылья...

— Ты права, — поддержал её Анри. — Поедем в Индию, туда, в край вечной весны и цветущей земли, туда, где человек живёт в царственной роскоши, не вызывая никаких нареканий, — не то что в нелепых странах, где люди пытаются осуществить идею равенства. Поедем в край, где властвуют над целым народом рабов, где вечное солнце озаряет вечно белые дворцы, где в воздухе реют дивные ароматы, где птицы поют любовь и где умирают, когда не могут больше любить...

— И где умирают вместе! — прибавила Пакита. — Но только поедем не завтра, а сейчас, сию же минуту... возьмём с собой и Кристемио.

— Поистине наслаждение — прекраснейшая развязка жизни. Поедем в Азию; но для этого надо много золота, дитя моё, а чтобы иметь его, надо устроить свои дела.

Она ничего не понимала в подобных вещах.

— Золото? Но здесь его целые груды, — сказала она, простирая РУКУ.

— Но оно не моё.

— Ну так что же? — возразила она. — Оно нам нужно, вот и возьмём его.

— Оно тебе не принадлежит.

— Не принадлежит! — повторила она. — Но ведь меня ты же взял! Возьми золото, и оно будет также твоим.

Он рассмеялся:

— Невинная моя бедняжка! ты ничего не смыслишь в житейских делах.

— Нет... А вот в этом я смыслю! — воскликнула она, прижимая к себе Анри.

И вдруг, в ту самую минуту, когда де Марсе забыл все на свете, лелеял одну лишь мечту навеки овладеть этим существом, в минуту наивысшего восторга удар кинжала впервые поразил его в самое сердце, смертельно ранив юношу. Пакита, с силой приподняв его, словно желая полюбоваться им, воскликнула:

— О Марикита!

— Марикита! — яростно крикнул де Марсе. — Значит, все так, как я и думал.

Он бросился к шкапу, где хранился длинный кинжал. К счастью для него и для Пакиты, шкаф был заперт. Натолкнувшись на препятствие, ярость Анри лишь возросла; но он овладел собой, отыскал свой галстук и направился к девушке с таким красноречиво-грозным видом, что, даже не подозревая, в каком преступлении он её обвиняет, Пакита почувствовала смертельную опасность для себя. Тогда она одним прыжком отскочила в противоположный

угол комнаты, спасаясь от петли, которую де Марсе пытался накинуть ей на шею. Завязалась борьба. Они не уступали друг другу в гибкости, стремительности и силе. Пакита, чтобы оградить себя от нападения любовника, бросила ему под ноги подушку, он споткнулся и упал, а девушка, воспользовавшись этой передышкой, нажала пружинку звонка, призывая на помощь. И немедленно появился мулат. В мгновение ока Кристемиио ринулся на де Марсе, повалил его и наступил ногою на грудь, нажимая каблуком на горло. Де Марсе понял, что сопротивляться нельзя, так как в ту же минуту он будет раздавлен по одному лишь знаку Пакиты.

— Зачем ты хотел меня убить, любовь моя? Де Марсе молчал.

— Чем прогневила я тебя? Скажи, объясни мне.

Анри сохранял хладнокровие сильного человека, чувствующего себя побеждённым, — бесстрастную, молчаливую, чисто английскую сдержанность, сознание собственного достоинства, не униженного минутной покорностью судьбе. К тому же, несмотря на приступ охватившей его ярости, он уже понял, насколько неосмотрительно было с его стороны навлекать на себя преследование правосудия, убив эту девушку сразу, а не подготовив убийство заранее, чтобы обеспечить себе безнаказанность.

— Мой любимый, — умоляла Пакита, — скажи хоть что-нибудь, не покидай меня без прощального слова любви! Я не хочу, чтобы в сердце моем сохранилась память о том ужасе, которым ты отравил меня... Да скажешь ли ты хоть слово? — крикнула она, в гневе топнув ногой.

В ответ де Марсе только бросил ей взгляд, столь явно говоривший: «Ты умрёшь!», — что Пакита бросилась к нему.

— Ну, стало быть, ты хочешь убить меня? Что ж, если смерть моя порадует тебя, — убей!

Она подала знак Кристемиио, тот снял ногу с груди юноши и ушёл, не выразив на лице ни одобрения, ни порицания Паките.

— Вот это человек! — мрачно сказал де Марсе, показав на мулата. — Кто подлинно предан, тот повинуется не рассуждая. Он твой истинный друг.

— Я отдам тебе его, если ты только пожелаешь, — ответила она, — и он будет служить тебе с такой же преданностью, как и мне, если я ему прикажу.

Она ждала от него ответа и, не дождавшись, сказала голосом, полным задушевной нежности:

— Адольф, пророни хоть одно доброе слово!.. Скоро и ночи конец.

Анри ничего не отвечал. Этот молодой человек обладал печальным даром, почитаемым за достоинство, — ведь люди склонны преклоняться даже перед сумасбродством, когда оно кажется им проявлением силы, — Анри не умел прощать. Отходчивость — несомненно, одно из проявлений душевного изящества — казалась ему нелепостью. Жестокий нрав северян, в достаточной мере свойственный англичанам, был унаследован им от отца. Он был непоколебим как в добрых, так и в дурных чувствах. Возглас Пакиты был тем ужаснее для него, что развенчал его в минуту самого сладостного торжества его мужского самолюбия. Надежда, любовь, все чувства были возбуждены в нем до предела, его сердце и ум пламенели, и это пламя, возжжённое для того, чтобы озарять его жизненный путь, угасло теперь под порывом ледяного ветра.

У Пакиты, изнемогавшей от скорби, хватило только сил, чтобы подать знак к разлуке.

— Это уже не нужно, — сказала она, отбрасывая повязку. — Ведь он не любит меня больше, он меня ненавидит, все кончено.

Она ждала его прощального взгляда и, не дождавшись, упала замертво. Мулат окинул Анри столь ужасающе выразительным взглядом, что тот в первый раз в жизни затрепетал, а между тем никто не мог отказать ему в редком бесстрашии. «Если ты разлюбишь её, доставишь ей малейшее огорчение, я убью тебя!» — таков был смысл этого мимолётного взгляда.

Почти с раболепной предупредительностью мулат проводил де Марсе через длинный

коридор, освещённый глухими оконцами, с потайной дверью в конце его, и вывел на скрытую от посторонних взоров лестницу, выходящую в сад особняка Сан-Реаль. Кристемิโอ осторожно провёл Анри по липовой аллее до самой калитки, выходящей на какую-то пустынную в ту пору улицу. Де Марсе все отлично заметил; карета ждала его; на этот раз мулат не сел с ним в экипаж, и, когда Анри выглянул из окошка кареты, чтобы в последний раз посмотреть на сад и дом, он увидел белые глаза Кристемิโอ и обменялся с ним взглядом. И с той и с другой стороны это был вызов, жажда расплаты, объявление войны на дикарский лад, поединка, не подчиняющегося никаким правилам, допускающего такое оружие, как измена и предательство. Кристемิโอ знал, что Анри поклялся погубить Пакиту. Анри же знал, что Кристемิโอ решил убить его прежде, чем юноша сам успеет убить Пакиту. Оба прекрасно друг друга понимали.

«Приключение усложняется, становится занимательным», — подумал Анри.

— Куда прикажете везти? — осведомился кучер. Де Марсе велел ехать к Полю де Манервилю.

Целую неделю Анри не показывался домой, и никто не знал, чем он был занят, где пропадал все это время. Отсутствие де Марсе спасло его от ярости мулата, но стало причиной гибели бедной девушки, возложившей все упования на того, кого она любила, как ещё никто не любил на земле.

В последний день этой недели, около одиннадцати часов вечера, Анри подъехал в карете к калитке сада при особняке Сан-Реаль. Его сопровождали три человека. Кучером был тоже, вероятно, кто-то из друзей, ибо он встал во весь рост на козлах, прислушиваясь к малейшему шуму, как бдительный страж. Один из трех остальных занял пост у калитки со стороны улицы, второй вошёл в сад, укрывшись в тени стены, и последний со связкой ключей в руках последовал за де Марсе.

— Анри, — сказал ему его спутник, — нас предали.

— Но кто же, дорогой Феррагус?

— Они не все усыплены, — ответил предводитель деворантов, — несомненно, кто-то сегодня не прикасался ни к еде, ни к питью... Гляди, видишь свет!

— С нами план дома, — посмотрим, откуда идёт свет.

— Я и без плана скажу, — ответил Феррагус, — свет идёт из комнаты маркизы.

— А! Она, видно, вернулась сегодня из Лондона! — воскликнул де Марсе. — Эта женщина отняла у меня даже радость отмщения! Но если она меня опередила, дорогой мой Грасьен, мы предадим её в руки правосудия.

— Да ты послушай!.. Все уже кончено, — сказал Феррагус. Оба друга замерли на минуту и услышали слабеющие крики, которые могли бы разжалобить даже тигра.

— Твоя маркиза не подумала о том, что звуки могут проникнуть на улицу через дымоход камина, — заметил предводитель деворантов, посмеиваясь, как критик, с удовлетворением отмечающий ошибку в чужом произведении искусства.

— Только мы одни умеем все предвидеть, — сказал Анри. — Подожди меня, я хочу посмотреть, что там творится у них наверху, как они там разрешают свои семейные ссоры. Клянусь Богом, она, кажется, поджаривает её на медленном огне.

Де Марсе быстро взбежал по знакомой ему лестнице и сразу нашёл дорогу в будуар. Открыв дверь, он не мог подавить охватившую его дрожь, что случается и с самыми смелыми людьми при виде пролитой крови. Не одно только убийство Пакиты так сильно поразило де Марсе. Маркиза была настоящая женщина, она рассчитала свою месть с тончайшим коварством слабого животного. Она скрыла сначала свой гнев, желая вполне убедиться в преступлении, чтобы потом покарать его.

— Слишком поздно, любимый! — прошептала умирающая Па-кита, обратив свои угасшие взоры к де Марсе.

Златоокая девушка умирала, утопая в крови. Зажжённые светильники, тонкий аромат, разлитый в воздухе, характерный беспорядок, в котором опытный глаз искателя любовных приключений угадал бы следы безумств, свойственных страстям, — все указывало на то, что

маркиза со знанием дела допросила виновную. Эти сверкающие белизной покои, где так особенно бросалась в глаза кровь, обличали долгую, упорную борьбу. Окровавленные руки Пакиты оставили отпечатки на подушках. Везде она цеплялась за жизнь, везде она защищалась, и везде её настигали удары кинжала. Целые полосы узорчатой обивки были вырваны её окровавленными руками, которые, видно, долго боролись. Пакита, должно быть, пыталась взобраться повыше: обнажённые ноги её оставили кровавые следы на спинке дивана, по которой она, вероятно, карабкалась. Тело Пакиты, искромсанное кинжалом её палача, свидетельствовало о том, с каким остервенением отстаивала она свою жизнь, которую Анри сделал для неё столь дорогой. Уже умирая, распростёртая на полу, она искусала щиколотки маркизы де Сан-Реаль, не выпускавшей из рук залитого кровью кинжала. У маркизы были вырваны целые пряди волос, она вся была искусана, многие ранки сочились кровью, а разорванное платье открывало обнажённое тело, исцарапанную грудь. И все-таки она была восхитительна. Её алчное и разъярённое лицо упивалось запахом крови. Полуоткрытые губы её трепетали, ноздри бурно раздувались, она задыхалась. Бывает, что некоторые дикие животные, расвирепев, бросаются на врага, поражают его и, сразу успокоенные своим торжеством, все забывают. Но другие долго кружатся около своей добычи, стерегут её, боясь, как бы не отняли её у них, и уподобляются Гомерову Ахиллу, девятикратно объехавшему вокруг Трои в колеснице, влача врага, привязанного к ней за ноги. Такова была и маркиза. Она не видела Анри. Она была совершенно уверена в том, что она одна, и не опасалась свидетелей; а кроме того, она была слишком опьянена свежей кровью, слишком разгорячена борьбой, слишком возбуждена, чтобы заметить кого-нибудь, хотя бы и весь Париж раскинулся вокруг бескрайним амфитеатром цирка. Прогреми сейчас гром, она не заметила бы этого. Не заметила она и последнего возгласа и вздоха Пакиты и воображала, что та ещё слышит её.

— Умри без покаяния! — кричала она ей. — Отправляйся в ад, чудовище неблагодарности! Пусть владеет отныне тобой один только дьявол. За кровь, которую ты отдала ему, ты заплатишь мне всей своей кровью! Умри же, умри, перетерпи тысячу смертей! О, я была слишком добра к тебе, мгновение — и ты убита, но я хотела бы заставить тебя испытать все муки, на какие ты обрекаешь меня. А я буду жить! Я, несчастная, осуждена теперь на то, чтобы любить только Бога!

Маркиза склонилась к Паките.

— Мертва! — воскликнула она, придя в себя. — Мертва! Я сама умру с горя!

Маркиза, изнемогая от отчаяния, так что у неё перехватило горло, повернулась к дивану, желая на него опуститься, и в эту минуту увидела Анри де Марсе.

— Кто ты такой? — крикнула она, бросаясь на него с поднятым кинжалом.

Анри схватил её за руку, и они замерли, глядя друг другу прямо в лицо. От изумления и ужаса кровь застыла в их жилах, и у них задрожали ноги, как у испуганных коней. И правда, Плавтовы двойники, и те не походили бы так друг на друга. В один голос произнесли они один и тот же вопрос:

— Ваш отец лорд Дэдли?

И оба утвердительно кивнули головой.

— Она была верна крови, — проговорил Анри, указывая на Пакиту.

— Её нельзя обвинять, она совсем ни в чем не виновата, — ответила ему Маргарита-Эвфемия Порравериль, бросаясь на тело Пакиты с воплем отчаяния. — Бедняжка моя! О! как хотела бы я тебя воскресить! Я была не права, прости меня, Пакита!.. Ты умерла, а я... я живу. Во сколько раз я несчастнее тебя!

В эту минуту перед ними предстала страшная фигура матери Пакиты.

— Знаю, ты скажешь, что продала её мне не для того, чтобы я её убила! — крикнула маркиза старухе. — Знаю, зачем ты вылезла из своей берлоги. Ты получишь за неё деньги сполна ещё раз. Молчи!

Она достала из шкапа чёрного дерева мешочек золота и с презрением швырнула его к ногам старухи. Звон золота вызвал улыбку на окаменевшем лице старухи.

— Я вовремя пришёл сюда, чтобы спасти тебя, сестра, — сказал Анри. — Правосудие потребует тебя к ответу...

— Никогда, — возразила ему маркиза. — Лишь один человек на свете мог потребовать у меня отчёта в судьбе девушки — Кристемиио. Он умер.

— А мать? — спросил Анри, указывая на старуху. — Не станет ли она теперь для тебя источником постоянного страха?

— Нет, она происходит из страны, где женщины — не люди, а вещи, с ними делают все, что хотят: продают, покупают, убивают, распоряжаются ими, как распоряжаетесь вы своим имуществом для удовлетворения своих прихотей. Притом её снедает страсть, которая убила в ней все остальные чувства и поглотила бы и материнскую любовь, если бы только она питала её к дочери, страсть...

— Какая? — с живостью спросил Анри, перебивая сестру.

— Страсть к игре, от чего да сохранит тебя Бог! — ответила маркиза.

— Но кто же поможет тебе замести все следы? Правосудие не простит тебе этой причуды! — предостерёг её Анри, указывая на Златоокою девушку.

— К моим услугам её мать, — проговорила маркиза, указывая да старуху и знаком приказывая ей остаться.

— Мы с тобою ещё увидимся, — сказал Анри, подумав о том, что его друзья, должно быть, уже беспокоятся и что пора уходить.

— Нет, брат мой, никогда, — сказала маркиза. — Я вернусь в Испанию и уйду в монастырь.

— Ты ещё так молода, так прекрасна! — воскликнул Анри, обняв и поцеловав её.

— Прощай, — промолвила она, — ничто не может утешить нас в утрате того, что казалось нам бесконечным.

Неделю спустя Поль де Манервиль встретил де Марсе на террасе Фельянов в Тюильри

— Ну, злодей, что случилось с твоей красавицей, со Златоокою девушкой?

— Она умерла.

— От чего?

— От чахотки.

*Париж, март 1834 г. — апрель 1835 г.*

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

[Другие книги серии «История тринадцати»](#)